

# ПЬЕР БУРДЬЕ

## СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ

.А. Шматко

### ВЕДЕНИЕ В СОЦИОАНАЛИЗ ПЬЕРА БУРДЬЕ

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — 336 с.)

Пьер Бурдьё (1930 г. р.) — один из крупнейших французских социологов нашего времени. Его профессиональная биография складывалась как постепенное восхождение к вершинам социологического Олимпа, к широкому его признанию научной общественностью и формированию отдельного социологического течения, называемого «школой Бурдьё».

Закончив в 1955 г. Высшую педагогическую школу (Ecole normale supérieure) по специальности «философия» (учителями Бурдьё были Альтюссер и Фуко), он начал преподавать философию в лицее небольшого города Мулен, но в 1958 г. уехал в Алжир, где продолжил преподавательскую работу и начал исследования как социолог. Именно Алжиру, алжирским трудящимся и мелким предпринимателям посвящены его первые опубликованные социологические труды: «Социология Алжира» (1961), «Труд и трудящиеся в Алжире» (1964). Затем последовал переезд вначале в Лилль, а потом в Париж, где в 1964 г. Бурдьё стал директором-исследователем в Высшей практической исследовательской школе (Ecole pratique des hautes études). В 1975 г. он основал и возглавил Центр европейской социологии, имеющий обширные международные научные контакты и программы, а также журнал «Ученые труды в социальных науках» («Actes de la recherche en sciences sociales»), который в настоящее время является, наряду с «Французским социологическим журналом» («Revue française de sociologie»), одним из ведущих социологических журналов Франции.

Важнейшим этапом на пути признания заслуг Пьера Бурдьё стало его избрание в 1981 г. действительным членом Французской академии и получение им почетного поста заведующего кафедрой социологии в Коллеж де Франс. В настоящее время Бурдьё является автором 26 монографий и многих десятков статей, опубликованных в крупнейших научных журналах Франции и других стран. Его работы переводятся на все европейские языки и имеют широкий резонанс в международном научном сообществе.

### Общая характеристика социологической концепции П. Бурдьё

Социология Пьера Бурдьё носит глубоко критичный и рефлексивный характер. Его диалектичное и порой парадоксальное мышление направлено на критику не только социальной или политической реальности переживаемого периода, но и на саму социологию как инструмент познания социального мира. Именно поэтому в работах Бурдьё большое место занимает социология социологии. Начиная со своих первых книг: «Социология Алжира» [«Sociologie de L'Algerie»] (1961), «Педагогическое отношение и коммуникация» [«Rapport pédagogique et Communication»] (1965), «Ремесло социолога» [«Le Métier de sociologue»] (1968) и кончая одной из последних — «Ответы» [«Réponses»] (1992), Пьер Бурдьё постоянно анализирует онтологический и социальный статус социологии в современном обществе, свободу и предопределенность в выборе предмета и объекта исследований, независимость и политическую ангажированность социологов.

Обращая внимание социологов на необходимость применения социологического анализа к самой социологии как одной из областей социального универсума, подчиненной тем же законам, что и любая другая область, Бурдьё отмечает, что деятельность социолога направляется не одними лишь целями

познания, но и борьбой за собственное положение в научной среде. «Значительная часть социологических ортодоксальных работ, — пишет он, — обязана своим непосредственным социальным успехом тому факту, что они отвечали господствующему заказу, часто сводящемуся к заказу на инструменты рационализации управления и доминирования или к заказу на «научную» легитимацию спонтанной социологии господствующих.»[1]

Для Бурдьё характерно глубокое пренебрежение междисциплинарным делением, накладывающим ограничения как на предмет исследования, так и на применяемые методы. В его исследованиях сочетаются подходы и приемы из области антропологии, истории, лингвистики, политических наук, философии, эстетики, которые он плодотворно применяет к изучению таких разнообразных социологических объектов как: крестьянство, искусство, безработица, система образования, право, наука, литература, брачно-родственные союзы, классы, религия, политика, спорт, язык, жилище, интеллектуалы и государственная «верхушка» и т. д.

Когда проводят границу между эмпирической социологией и теоретической, то обычно говорят, что эмпирическая социология изучает реальные факты и явления, интерпретируемые в рамках абстрактной модели, которая и является теоретической социологией.

Эмпирическая социология, базируясь на конкретных данных, а ригористически интегрирована в наблюдаемую ею социальную реальность, тогда как теоретическая социология в своих рассуждениях старается встать на некую объективную «сверхрефлексивную» позицию, расположенную как бы над обществом. Подобное деление на эмпирическую и теоретическую социологию абсолютно неприменимо к работам Бурдьё. Отвергая «непрактическую», невовлеченную в социальную жизнь стратегию теоретического исследования как «наблюдения за наблюдателем», автор выстраивает свои работы как человек, чьи интересы инвестированы в действительность, которую он изучает. Поэтому главное для Бурдьё — зафиксировать результат, произведенный ситуацией наблюдения на само наблюдение. Это означает решительный разрыв с традицией, утверждающей, что теоретику «нечего делать с социальной действительностью, кроме как объяснять ее»[2].

Отход от подобной «неинвестированной в социальную жизнь» стратегии исследования означает, во-первых, экспликацию того обстоятельства, что социолог не может занимать некую уникальную, выделенную позицию, с которой ему «видно все» и весь интерес которой сводится только к социологическому объяснению; во-вторых, социолог должен перейти от внешнего (теоретического) и незаинтересованного понимания практики агентов к пониманию практическому и непосредственно заинтересованному.

«Социолог противостоит доксософу тем, что ставит под сомнение вещи, кажущиеся очевидными... Это глубоко шокирует доксософов, которые видят политическую предвзятость в факте отказа от подчинения, глубоко политического, выражающегося в бессознательном принятии общих мест в аристотелевском смысле слова; понятий или тезисов, которыми аргументируют, но о которых не спорят.»[3]

Логика исследований Бурдьё в корне противоположна чистому теоретизированию: как «практический» социолог и социальный критик он ратует за практическую мысль в противовес «чистой» мысли или «теоретической теории». Он неоднократно подчеркивает в своих книгах, что теоретические определения не имеют сами по себе никакой ценности, если их нельзя заставить работать в эмпирическом исследовании.

### Диалектика социального агента

Вводя агента в противоположность субъекту и индивиду, Бурдьё стремится отмежеваться от структуралистского и феноменологического подходов к изучению социальной реальности. Он подчеркивает, что понятие «субъект» используется в широко распространенных представлениях о «моделях», «структурах», «правилах», когда исследователь как бы встает на объективистскую точку зрения, видя в субъекте марионетку, которой управляет структура, и лишает его собственной активности. В этом случае субъект рассматривается как тот, кто реализует сознательную целенаправленную практику, подчиняясь определенному правилу. Агенты же у Бурдьё «не являются автоматами, отлаженными как часы в соответствии с законами механики, которые им неведомы»[4].

Агенты осуществляют стратегии — своеобразные системы практики, движимые целью, но не направляемые сознательно этой целью. Бурдьё предлагает в качестве основы для объяснения практики агентов не теоретическую концепцию, построенную для того, чтобы представить эту практику «разумной» или, того хуже, «рациональной», а описывает саму логику практики через такие ее феномены, как практическое чувство, габитус, стратегии поведения.

Одним из базовых понятий социологической концепции Пьера Бурдьё является понятие габитуса, позволяющее ему преодолеть ограниченность и поверхностность структурного подхода и излишний психологизм феноменологического. Габитус — это система диспозиций, порождающая и структурирующая практику агента и его представления. Он позволяет агенту спонтанно ориентироваться в социальном пространстве и реагировать более или менее адекватно на события и ситуации. За этим стоит огромная работа по образованию и воспитанию в процессе социализации индивида, по усвоению им не только эксплицитных, но и имплицитных принципов поведения в определенных жизненных ситуациях. Интериоризация такого жизненного опыта, зачастую оставаясь неосознаваемой, приводит к формированию готовности и склонности агента реагировать, говорить, ощущать, думать определенным — тем, а не другим — способом. Габитус, таким образом, «есть продукт характерологических структур определенного класса условий существования, т. е.: экономической и социальной необходимости и семейных связей или, точнее, чисто семейных проявлений этой внешней необходимости (в форме разделения труда между полами, окружающих предметов, типа потребления, отношений между родителями, запретов, забот, моральных уроков, конфликтов, вкуса и т. п.)»[5].

Габитус, по Бурдьё, есть в одно и то же время порождающий принцип, в соответствии с которым объективно классифицируется практика, и принцип классификации практик в представлениях агентов. Отношения между этими двумя процессами определяют тип габитуса: способность продуцировать определенный вид практики, классифицировать окружающие предметы и факты, оценивать различные практики и их продукты. (то, что обычно называют вкусом), что также находит выражение в пространстве стилей жизни агентов.

Связь, устанавливаемая в реальности между определенным набором экономических и социальных условий (объем и структура капиталов, имеющихся в наличии у агента) и характеристиками занимаемой агентом позиции (соответствующим пространством стилей жизни), кристаллизуется в особый тип габитуса и позволяет сделать осмысленными как сами практики, так и суждения о них.

#### Двойственная природа социального пространства и социальных позиций

Главную задачу социологии Бурдьё видит в выявлении наиболее глубоко скрытых структур различных социальных сред, которые составляют социальный универсум, а также механизмов, служащих его воспроизводству и изменению. Особенность этого универсума заключается в том, что оформляющие его структуры «ведут двойную жизнь». Они существуют в двух ипостасях: во-первых, как «реальность первого порядка», данная через распределение материальных ресурсов и средств присвоения престижных в социальном плане благ и ценностей («виды капитала» по Бурдьё); во-вторых, как «реальность второго порядка», существующая в представлениях, в схемах мышления и поведения, т. е. как символическая матрица практической деятельности, поведения, мышления, эмоциональных оценок и суждений социальных агентов.

Бурдьё пишет: «Прежде всего социология представляет собой социальную топологию. Так, можно изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированных совокупностью действующих свойств в рассматриваемом универсуме, т. е., свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов, таким образом, определяются по их относительным позициям в этом пространстве. Каждый из них размещен в позиции и в классы, определенные по отношению к соседним позициям (т. е. в определенной области данного пространства), и нельзя реально занимать две противоположных области в пространстве, даже если мысленно это возможно.»[6]

Говоря о позиции агентов в пространстве, Пьер Бурдьё подчеркивает тот аспект, что социальное и физическое пространства невозможно рассматривать в «чистом виде»: только как социальное или только как физическое: «...Социальное деление, объективированное в физическом пространстве,

функционирует одновременно как принцип видения и деления, как категория восприятия и оценивания, короче, как ментальная структура.»[7]. Социальное пространство поэтому не есть некая «теоретически оформленная пустота», в которой обозначены координаты агентов, но воплотившаяся физически социальная классификация: агенты «занимают» определенное пространство, а дистанция между их позициями — это тоже не только социальное, но и физическое пространство.

Для того, чтобы понять, что же находится «между» агентами, занимающими различные позиции в социальном пространстве, нужно «отойти» от привычного рассмотрения «социального субъекта» и обратиться к тому, что делает позицию в пространстве не зависящей от конкретного индивида. Здесь следует еще раз подчеркнуть употребление Бурдьё понятия «агент», отражающего в первую очередь такое качества индивида, как активность и способность действовать, быть носителем практик определенного сорта и осуществлять стратегии, направленные на сохранение или изменение своей позиции в социальном пространстве.

Следовательно, можно сказать, с одной стороны, что совокупность позиций в социальном пространстве (точнее, в каждом конкретном поле) конституируется практиками, а с другой стороны, — что практики есть то, что «находится» между агентами. Пространство практик, таким образом, так же объективно, как и пространство агентов. Социальное пространство как бы воссоединяет оба эти пространства — агентов и практик — при постоянном и активном их взаимодействии.

Таким образом, общество как «реальность первого порядка» рассматривается в аспекте социальной физики как внешняя объективная структура, узлы и сочленения которой могут наблюдаться, измеряться, «картографироваться». Субъективная же точка зрения на общество как на «реальность второго порядка» предполагает, что социальный мир является «контингентным и протяженным во времени осуществлением деятельности уполномоченных социальных агентов, которые непрерывно конструируют социальный мир через практическую организацию повседневной жизни»[8].

Говоря о социальном пространстве как «пространстве второго порядка», Бурдьё подчеркивает, что оно есть не только «реализация социального деления», понимаемого как совокупность позиций, но и пространство «видения этого деления»: *vision* и *division*, а также не только занятие определенной позиции в пространстве (поле) — *position*, но и выработка определенной (политической) позиции — *prise de position*. «Социальное пространство, таким образом, вписано одновременно в объективность пространственных структур и в субъективные структуры, которые являются отчасти продуктом инкорпорации объективированных структур.»[9]

Противопоставление объективизма и субъективизма, механицизма и целеполагания, структурной необходимости и индивидуальных действий является, согласно Бурдьё, ложным, поскольку эти пары терминов не столько противостоят, сколько дополняют друг друга в социальной практике. Преодолевая эту ложную антиномию, Бурдьё предлагает для анализа социальной реальности социальную праксеологию, которая объединяет структурный и конструктивистский (феноменологический) подходы. Так, с одной стороны, он дистанцируется от обыденных представлений с целью построить объективные структуры (пространство позиций) и установить распределение различных видов капитала, через которое конституируется внешняя необходимость, влияющая на взаимодействия и на представления агентов, занимающих данные позиции. С другой стороны — он вводит непосредственный опыт агентов с целью выявить категории перцепции и оценивания (диспозиции), которые «изнутри» структурируют поведение агента и его представления о занимаемой им позиции.

#### Конституирование социальных полей и их основные свойства

Социальное пространство включает в себя несколько полей, и агент может занимать позиции одновременно в нескольких из них (эти позиции находятся в отношении гомологии друг с другом). Поле, по Бурдьё, — это специфическая система объективных связей между различными позициями, находящимися в альянсе или в конфликте, в конкуренции или в кооперации, определяемыми социально и в большой степени не зависящими от физического существования индивидов, которые эти позиции занимают.

При синхронном рассмотрении поля представляют собой структурированные пространства позиций,

которые и определяют основные свойства полей. Анализируя такие различные поля, как например, поле политики, поле экономики, поле религии, Пьер Бурдьё обнаруживает инвариантные закономерности их конституирования и функционирования: автономизация, определение «ставок» игры и специфических интересов, которые несводимы к «ставкам» и интересам, свойственным другим полям, борьба за установление внутреннего деления поля на классы позиций (доминирующие и доминируемые) и социальные представления о легитимности именно этого деления и т. п. Каждая категория интересов содержит в себе индифферентность к другим интересам, к другим инвестициям капитала, которые будут оцениваться в другом поле как лишённые смысла. Для того, чтобы поле функционировало, необходимо, чтобы ставки в игре и сами люди были готовы играть в эту игру, имели бы габитус, включающий знание и признание законов, присущих игре.

Структура поля есть состояние соотношения сил между агентами или институциями, вовлечёнными в борьбу, где распределение специфического капитала, накопленного в течение предшествующей борьбы, управляет будущими стратегиями. Эта структура, которая представлена, в принципе, стратегиями, направленными на ее трансформацию, сама поставлена на карту: поле есть место борьбы, имеющее ставкой монополию легитимного насилия, которая характеризует рассматриваемое поле, т. е. в итоге сохранение или изменение распределения специфического капитала.

Пьер Бурдьё дает ответ на часто встречающийся вопрос о связи и отличии «поля» и «аппарата» в смысле Альтюссера или «системы» у Лумана. Подчеркивая существенность отличия «поля» от «аппарата», автор настаивает на двух аспектах: историзм и борьба. «Я настроен очень против аппарата, который для меня является троянским конем худшего функционализма: аппарат — это адская машина, запрограммированная на достижение определенных целей. Система образования, государство, церковь, политические партии, профсоюзы — это, не аппараты, а поля. В поле агенты и институции борются в соответствии с закономерностями и правилами, сформулированными в этом пространстве игры (и, в некоторых ситуациях, борются за сами эти правила) с различной силой и поэтому различна вероятность успеха, чтобы овладеть специфическими выгодами, являющимися целями в данной игре. Доминирующие в данном поле находятся в позиции, когда они могут заставить его функционировать в свою пользу, но должны всегда рассчитывать на сопротивление, встречные требования, претензии, «политические» или нет, тех, кто находится в подчиненной позиции.»[10].

Конечно, в некоторых исторических условиях, которые должны быть изучены эмпирически, поле может начать функционировать как аппарат: тоталитарные институции (ссылка, тюрьма, концентрационный лагерь) или диктаторские государства сделали массу попыток, чтобы добиться этого. Таким образом, аппараты представляют предельный случай, нечто, что можно рассматривать как патологическое состояние поля.

Что же касается теории систем, здесь можно найти некоторое поверхностное сходство с теорией полей. Можно было бы легко перевести концепты «самореферентности» или «самоорганизации» как то, что П. Бурдьё понимает под понятием автономии; в этих двух случаях действительно процесс дифференциации и автономизации играет главную роль. Но различия между этими двумя теориями, тем не менее радикальны. В первую очередь, понятие поля исключает функционализм и органицизм: поскольку продукты данного поля могут быть систематическими не будучи продуктами системы и, в частности, той, которая характеризуется общими функциями, внутренней связностью. Если верно то, что можно рассматривать входящие в пространство возможного занятые позиции как систему, то тем не менее они формируют систему различий, разграничительные и антагонистические различия, развивающиеся не в соответствии с их собственным внутренним движением (как подразумевает принцип самореферентности), а через внутренние конфликты с полем производства. Поле есть место отношений сил — а не только смысла — и борьбы, направленной на трансформацию этих отношений и, как следствие, это место непрерывного изменения. Связность, которую можно наблюдать в определенном состоянии поля, ее внешнее проявление как ориентации на какую-то одну определенную функцию (например, в случае *Grandes Ecoles* во Франции — воспроизводство структуры поля власти) являются продуктами конфликта и конкуренции, а не имманентного структуре некоего саморазвития.

Другим важным отличием является то, что поле не имеет частей, составляющих. Каждое субполе имеет свою собственную логику, свои правила, свои специфические закономерности, и каждый этап деления поля вызывает настоящий качественный скачок (как, например, когда переходят от уровня поля политики в целом к субполю международной политики государства). Каждое поле конституирует

потенциально открытое пространство игры, ограничения которого есть динамические границы, являющиеся ставками в борьбе внутри самого этого поля. Иначе говоря, для более полного понимания, что разделяет концепты «поле» и «система», нужно рассматривать их в действии и сравнивать их, исходя из произведенных ими эмпирических объектов.

В своей теории экономики полей Бурдьё отмечает необходимость всякий раз идентифицировать те специфические формы, в которых проявляются в различных полях наиболее общие концепты и механизмы (капитал, инвестирование, интерес и др.)- и избегать, таким образом, какого бы то ни было редукционизма, но, особенно, редукционизма экономического, признающего лишь материальные интересы и стремление максимизировать денежную выгоду.

#### Вопрос о политическом и анализ поля политики

Собранные в данной книге работы Бурдьё, касающиеся его анализа политики, отвечают не сиюминутному запросу оценить расстановку политических сил, но фундаментальной потребности получить социологический инструмент анализа политики как специфической социальной реальности. Бурдьё изучает не партии и политические течения или реальных политиков — этого читатель не найдет в книге, — но социальный механизм формирования политических партий и политических мнений, одним из которых является делегирование. Он рассматривает поле политики как рынок, в котором существуют производство, спрос и предложение продукта особого сорта — политических партий, программ, мнений, позиций. Применяя общую концепцию строения и функционирования социального поля, Пьер Бурдьё последовательно рассматривает специфические принципы распределения в поле политики доминирующих и доминируемых позиций, власти, а также механизмов легитимного насилия и навязывания определенного видения распределения политических сил и — более широко — деления социального пространства.

Как социолог Бурдьё регулярно обращался к исследованию политических сюжетов, что следует также из работ, публикуемых в данной книге — они датируются разными годами, но как гражданин он всегда сторонился политики и никогда не вступал ни в одну партию. Однако в последнее время, особенно после войны в Персидском заливе, Бурдьё стал выступать за активную роль социолога в политическом процессе, за то, что необходимо анализировать и развенчивать современную нам политику, не оставляя область производства политического продукта на одних лишь политиков, чтобы избежать символического, да и прямого манипулирования, навязывания определенных (доминирующих) точек зрения. «Все происходит так, — пишет Бурдьё, — как если бы все более и более неумолимая цензура научного мира, все более и более озабоченного своей автономией (реальной или видимой), все более и более жестко навязывала себя исследователям, которые для того, чтобы заслужить звание ученого должны были убивать в себе политика, уступая тем самым утопическую функцию менее щепетильным и менее компетентным из собратьев, либо же политическим деятелям или журналистам.» И добавляет: «...Я считаю, что ничто не оправдывает это сциентистское отречение, которое разрушает политические убеждения, и что настал момент, когда ученые совершенно полноправно обязаны вмешаться в политику ...со всем авторитетом и правом, которое дает принадлежность к автономному универсуму науки.»[11] Бурдьё рассматривает поле политики совсем иным образом, чем это стало принято теперь в нашей прессе: т. е. не как нечто данное объективно и независимо от нас, то на что мы можем реагировать каким-либо способом, но не можем изменить (в первую очередь потому, что этому [Перестройке, Ельцину, Рынку, Реформе и т. д.] — «нет альтернативы»). Для него поле политики является условием и постоянно производящимся и институтирующимся результатом политической практики.

В русле целостной концепции поля анализ борьбы, которую ведут агенты в поле политики, представляет собой также анализ сил, направленных на сохранение или изменение сложившейся социально-политической структуры и на легитимацию власти доминирующих в политическом поле. Бурдьё показывает, что основной ставкой в политической игре являются не только и даже не столько монополия использования объективированных ресурсов политической власти (финансов, права, армии и т. п.), сколько монополия производства и распространения политических представлений и мнений: именно они обладают той «мобилизующей» силой, которая дает жизнь политическим партиям и правящим группировкам.

Если рассматривать интегрированность агента в политическую практику как сознательную

деятельность, то ее нужно объяснять либо в терминах, описывающих сознание субъекта, либо в терминах политической позиции, т. е. со стороны двух принципиально различных механизмов порождения актов политической практики. С одной стороны, часть политических действий субъекта обусловлена рефлексией, рациональными «проектами будущего» и т. п., а с другой — способностью спонтанно воспринимать, оценивать и действовать в рамках сложившихся социальных форм. Можно сказать, что, если политическая практика субъекта регулируется его сознанием, то политическая стратегия агента представляет собой реализацию необходимости, присущей политической ситуации. Политическая стратегия агента не является результатом сознательного стремления на основе знания, но вместе с тем она и не продукт внешнего принуждения: было бы неверно редуцировать субъективность агента только к интериоризованной форме отношений поля политики или к легитимному насилию. Однако для того, чтобы агент, объективируя свою субъективность в политическом действии, мог добиваться результатов, он должен располагать определенными капиталами — специфическими знаниями и навыками, признанным статусом, «авторитетом», связями и т. д.

Согласно Бурдьё, исследование поля политики с необходимостью должно включать рассмотрение условий доступа к политической практике и ее осуществлению. Поле политики оформляется различиями активных характеристик агентов, которые придают их обладателям власть в поле (способность действовать эффективно) и являются, собственно, видами власти в этом поле. Каждая политическая позиция описывается специфическими сочетаниями этих характеристик, определена отношениями с другими позициями. Все в поле политики — позиции, агенты, институты, программные заявления, комментарии, манифестации и т. д. — может быть понято исключительно через соотнесение, сравнение и противопоставление, через анализ борьбы за переопределение правил внутреннего деления поля.

Заканчивая это краткое введение, хочется привести слова Бурдьё, обращенные к социологам:

«...Я хотел бы, чтобы социологи были всегда и во всем на высоте той огромной исторической ответственности, которая выпала на их долю, и чтобы они всегда привлекали в своих действиях не только свой моральный авторитет, но и свою интеллектуальную компетенцию. Вслед за Карлом Краусом я хочу сказать, что 'отказываюсь выбирать из двух зол меньшее'. И если я полностью отказываюсь прощать грехи 'безответственности' интеллектуалам, то в еще меньшей степени я склонен это делать в отношении 'ответственных' интеллектуалов, 'полиморфных' и 'полиграфных', которые в перерыве между двумя административными советами, тремя коктейлями с участием прессы и несколькими появлениями на телевидении выдают каждый год по новой публикации.»[12]

Н. Шматко

[1] Bourdieu P. Choses dites. Paris: Minuit, 1987. P. 61.

[2] Ibid. P. 75-76.

[3] Интервью с Пьером Бурдьё, опубликованное в газете «Monde», 14 января 1992 г.

[4] Bourdieu P. Choses dites. Paris: Minuit, 1987. P. 19.

[5] Bourdieu P., Passeron J.-C. La Reproduction. Paris: Minuit, 1971. P. 50.

[6] См. в данной книге раздел: «Социальное пространство и генезис 'классов'». С. 56-57.

[7] См. в данной книге раздел: «Физическое и социальное пространства». С. 37.

[8] Bourdieu P. Choses dites. Paris: Minuit, 1987. P. 113.

[9] См. в данной книге раздел: «Физическое и социальное пространства». С. 38.

[10] Bourdieu P. (avec Loic J. D. Wacquant). Réponses. Paris: Seuil, 1992. P. 78.

[11] См. в данной книге раздел: «Политический монополизм и символические революции». С. 317-318.

[12] Интервью с Пьером Бурдьё, опубликованное в газете «Monde», 14 января 1992.

Пьер Бурдьё

#### ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Н.А. Шматко/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — 27-31.)

Нужно ли говорить, как я счастлив и горд, что это собрание текстов и размышлений, посвященное мною политике, публикуется на русском языке? Однако я не могу не усомниться в успешности испытания, которое представляет для любого произведения и для любого писателя проникновение в иной культурный универсум и обращение к читателю, погруженному в иную историю. При международных контактах тексты циркулируют в отрыве от породившего их контекста и потому подвергаются многим деформациям и трансформациям, порой творческим. Мы всегда читаем сквозь призму нашего габитуса и не прекращаем проецировать на эти тексты вопросы, предположения, подтекст, которые нам внушают обстоятельства и, в частности, политики, направляющие наши цели и наши промахи. Как эта книга сможет пройти такого рода испытание? Ведь дистанция между политическим опытом, который может иметь мой русский читатель, особенно, если он родился до второй мировой войны, и опытом, полученным мною в послевоенной Франции, очень значительная, по крайней мере, внешне. Несомненно, в политическом словаре нет ни одного слова, которое имело бы тот же смысл и ту же окрашенность для этого читателя и для меня. Иногда то, что я описываю как один из исключительно утонченных инструментов символической манипуляции, к примеру, опросы общественного мнения, может показаться ему инструментом освобождения, позволяющим заменить без сомнения несовершенную форму "прямой демократии" на резкий нажим и указания бюрократическим аппаратам.

Тем не менее я верю, что модели, предлагаемые мною для описания политического поля, или исключительно фундаментальный феномен делегирования могут быть применимы *mutatis mutandis*[1], к ситуациям совершенно различным по проявлениям. Я верю даже, что в мире мало таких мест, где будут более готовы к восприятию анализа бюрократического лицемерия уполномоченного политического лица и обращения к обобщенному антиклерикализму, сформулированному в конце моей статьи о делегировании, чем в стране, изобретшей и внедрившей на огромной части света тиранию аппаратчиков, — второсортных интеллектуалов, если не сказать посредственностей, царивших во имя теории, науки и правды, что позволяет делегирование.

Никогда не разделяя политических иллюзий и бреда сталинизма, маоизма и т. п., через которые прошли многие французские интеллектуалы, я избежал колебаний и поворотов, приведших многих моих современников от одной крайности политического спектра к другой. И если проделанная мною работа может принести сегодня какую-то пользу для русского читателя, то потому, что я не переставал отвергать альтернативы, которые путем давления и принуждения навязывались политикой повсюду вплоть до недр интеллектуального поля: я имею в виду, например, противостояние между марксистами и формалистами, которое появилось впервые в России, и которое необходимо было преодолеть для того, чтобы заниматься строгим научным анализом произведений культуры, литературы, живописи, науки и философии. Но я мог бы перечислить еще 20 других альтернатив, столь же разрушительных для исследования, которые, как я подозреваю, при современной конъюнктуре должны навязываться русским исследователям с особой силой как искушение простого переворота от "за" к "против", в которое вводят эти альтернативы. Рискую показаться претенциозным, я сказал бы, что особенности моей очень своеобразной траектории в недрах интеллектуального поля, в частности, отношения с политикой, дают возможность моему личному опыту, как мне кажется, помочь тем, кто будет читать эту книгу в России или в другой стране, сэкономить на ошибках, на которые



обрекают себя те, кто игнорирует факт, что недостаточно развернуться в обратную сторону от ошибки, чтобы прийти к истине.

Пьер Бурдьё

Пьер Бурдьё

ФИЗИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА: проникновение и присвоение

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Н.А. Шматко / Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 33-52.)

Социология должна действовать, исходя из того, что человеческие существа являются в одно и то же время биологическими индивидами и социальными агентами, конституированными как таковые в отношении и через отношение с социальным пространством, точнее, с полями. Как тела и биологические индивиды, они [человеческие существа — Перев.] помещаются, так же как и предметы, в определенном пространстве (они не обладают физической способностью вездесущности, которая позволяла бы им находиться одновременно в нескольких местах) и занимают одно место. Место, *topos* может быть определено абсолютно, как то, где находится агент или предмет, где он «имеет место», существует, короче, как «локализация», или же относительно, релятивно, как позиция, как ранг в порядке. Занимаемое место может быть определено как площадь, поверхность и объем, который занимает агент или предмет, его размеры или, еще лучше, его габариты (как иногда говорят о машине или о мебели).

Однако, физическое пространство определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, в то время, как социальное пространство — по взаимоисключению (или различению) позиций, которые его образуют, так сказать, как структура рядоположенности социальных позиций. Социальные агенты, а также предметы в качестве присвоенных агентами, и следовательно, конституированные как собственность, помещены в некое место социального пространства, которое может быть охарактеризовано через его релятивную позицию по отношению к другим местам (выше, ниже, между и т. п.) и через дистанцию, отделяющую это место от других. На самом деле, социальное пространство стремится преобразоваться более или менее строгим образом в физическое пространство с помощью искоренения или депортации некоторых людей — операций неизбежно очень дорогостоящих.

Структура социального пространства проявляется, таким образом, в самых разнообразных контекстах как пространственные оппозиции обитаемого (или присвоенного) пространства, функционирующего как некая спонтанная метафора социального пространства. В иерархизированном обществе не существует пространства, которое не было бы иерархизировано и не выражало бы иерархии и социальные дистанции в более или менее деформированном и, в особенности, замаскированном виде посредством действия натурализации, вызывающей устойчивое занесение социальных реальностей в физический мир. Различия, произведенные посредством социальной логики, могут, таким образом, казаться рожденными из природы вещей (достаточно подумать об идее «естественных границ»).

Так, разделение на две части внутреннего пространства кабилльского дома, которое я детально анализировал ранее[1], несомненно, устанавливает парадигму любых делений разделяемой площади (в церкви, в школе, в публичных местах и в самом доме), в которые переводится снова и снова, хотя все более скрытым образом, структура разделения труда между полами. Но можно с таким же успехом проанализировать структуру школьного пространства, которое в различных его вариантах всегда стремится обозначить выдающееся место преподавателя (кафедру), или структуру городского пространства. Так, например, пространство Парижа представляет собой помимо основного обратного преобразования экономических и культурных различий в пространственное распределение жилья между центральными кварталами, периферийными кварталами и пригородом, еще и вторичную, но

очень заметную оппозицию «правого берега» «левому берегу», соответствующую основополагающему делению поля власти, главным образом, между искусством и бизнесом.

Здесь можно видеть, что социальное деление, объективированное в физическом пространстве, как я показывал ранее, функционирует одновременно как принцип видения и деления, как категория восприятия и оценивания, короче, как ментальная структура. И можно думать, что именно посредством такого воплощения в структурах присвоенного физического пространства, глухие приказы социального порядка и призывы к негласному порядку объективной иерархии превращаются в системы предпочтений и в ментальные структуры. Точнее говоря, неощутимое занесение в тело структур социального порядка несомненно осуществляется в значительной степени с помощью перемещения и движения тела, позы и положения тела, которые эти социальные структуры, конвертированные в пространственные структуры, организуют и социально квалифицируют как подъем или упадок, вход (включение) или выход (исключение), приближение или удаление по отношению к центральному и ценному месту (достаточно подумать о метафоре «очага», господствующей точки кабилевского дома, которую Хальбвакс натуральным образом подыскал, чтобы говорить об «очаге культурных ценностей»). Я думаю, например, об уважительной поддержке, к которой апеллируют величие и высота (например, памятника, эстрады или трибуны), или еще о противостоянии произведений скульптуры и живописи или, более утонченно, о всех проявлениях в поведении почтительности и реверансов, которые негласно предписывает простая социальная квалификация в пространстве (почетное место, первенство и т. п.) и любые практические иерархии областей пространства (верхняя часть/нижняя часть, благородная часть/постыдная часть, авансцена/кулисы, фасад/задворки, правая сторона/левая сторона и др.).

Присвоенное пространство есть одно из мест, где власть утверждается и осуществляется, без сомнения, в самой хитроумной своей форме — как символическое или незамечаемое насилие: архитектурные пространства, чьи бессловесные приказы адресуются непосредственно к телу, владеют им совершенно так же, как этикет дворцовых обществ, как реверансы и уважение, которое рождается из отдаленности (*e longinquo reverentia*, как говорит латынь), точнее, из взаимного отдаления на почтительную дистанцию. Эти архитектурные пространства несомненно являются наиболее важными составляющими символическости власти, благодаря самой их незаметности (даже для самих аналитиков, часто привязанных, также как историки после Шрамма, к наиболее видимым знакам, к скипетрам и коронам).

Социальное пространство, таким образом, вписано одновременно в объективные пространственные структуры и в субъективные структуры, которые являются отчасти продуктом инкорпорации объективированных структур. Например, как я уже писал, оппозиция «левого берега» Сены (под которым сегодня практически понимаются и предместья) «правому берегу», которая отражается на картах и в статистических обзорах (о публике, посещающей театры, или об особенностях художников, выставляемых в галереях на том и другом берегу), представлена «в головах» потенциальных зрителей. но также и в головах авторов театральных пьес или художников и критиков в виде оппозиций, функционирующих как категории восприятия и оценивания: оппозиция театра авангарда и поиска театру бульварному, конформистскому, повторяющемуся; публики молодой публике старой, буржуазной; или кино как искусством и экспериментом залам с исключительным правом показа некоторых фильмов и т. д.

Как можно видеть, нет ничего более сложного, чем выйти из овеществленного социального пространства, чтобы осмысливать его именно в отличии от социального пространства. И это тем более верно, что социальное пространство как таковое предрасположено к тому, чтобы позволять видеть себя в форме пространственных схем, а повсеместно используемый для разговоров о социальном пространстве язык изобилует метафорами, заимствованными из физического пространства.

Таким образом; нужно начинать с определения четкого различия между физическим и социальным пространствами, чтобы затем задаться вопросом, как и в чем локализация в определенной точке физического пространства (неотделимая от точки зрения) и присутствие в этой точке могут принимать вид имеющегося у агентов представления об их позиции в социальном пространстве, и через это — самой их практики.

Социальное пространство — не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем

более или менее полно и точно. Это объясняет то, что нам так трудно осмысливать его именно как физическое. То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально обозначенным и сконструированным. Физическое пространство не может мыслиться в таком своем качестве иначе, как через абстракцию (физическая география), т. е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, являясь обитаемым и присвоенным. Иначе говоря, физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии (как например, кабилский дом или план города), объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений.

Социальное пространство — абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала, функционирующей одновременно как инструменты и цели борьбы в различных полях (то, что в «Различении»[2] обозначалось как общий объем и структура капитала). Реализованное физически социальное пространство представляет собой распределение в физическом пространстве различных видов благ и услуг, а также индивидуальных агентов и групп, локализованных физически (как тела, привязанные к постоянному месту: закрепленное место жительства или главное место обитания) и обладающих возможностями присвоения этих более или менее значительных благ и услуг (в зависимости от имеющегося у них капитала, а также от физической дистанции, отделяющей от этих благ, которая сама в свою очередь зависит от их капитала). Такое двойное распределение в пространстве агентов как биологических индивидов и благ определяет дифференцированную ценность различных областей реализованного социального пространства.

Распределения в физическом пространстве блага услуг, соответствующих различным полям, или, если угодно, различным объективированным физически социальным пространствам, стремятся наложиться друг на друга, по меньшей мере приблизительно: следствием этого является концентрация наиболее дефицитных благ и их собственников в определенных местах физического пространства (Пятая Авеню, улица Фобур де Сен-Оноре[3]), противостоящих во всех отношениях местам, объединяющим в основном, а иногда — исключительно, самых обездоленных (гетто). Эти места представляют собой ловушки для исследователя, поскольку, принимая их как таковые, неосторожный наблюдатель (например, имеющий целью проанализировать характерную символику торговли предметами роскоши на Медисон Авеню и на Пятой Авеню, употребление имен собственных или нарицательных, заимствованных из французского, использование благородного удваивания имени основателя профессии, упоминание предшественников и т. п.) обрекает себя на субстанциалистский и реалистический подход, упуская главное: каким образом Медисон Авеню, улица Фобур де Сен-Оноре объединяют продавцов картин, антикваров, дома «высокой моды», модельеров обуви, художников, декораторов и т. п. — весь ансамбль коммерческих предприятий, которые в целом занимают высокие (следовательно, гомологичные друг другу) позиции каждый в своем поле (или социальном пространстве) и которые не могут быть поняты иначе в самой своей специфике, начиная с названий, как в связи с коммерческими предприятиями, принадлежащими тому же полю, но занимающими другие области парижского пространства. Например, декораторы с улицы Фобур де Сен-Оноре противопоставляются (прежде всего по своему благородному имени, но и по всем свойствам, природе, качеству и ценам предлагаемой продукции, социальным качествам клиентуры и т. п.) тем, кого в Фобур Сен-Антуан называют столярами-краснодеревщиками; модельеры причесок поддерживают подобные отношения с простыми парикмахерами, модельеры обуви — с сапожниками и т. д. В той мере, в какой оно лишь концентрирует позитивные полюса из всех полей (так же, как гетто концентрирует все негативные полюса), это пространство не содержит истину в себе самом. То же относится и к столице [la capitale], которая — по меньшей мере во Франции — является местом капитала [le capital], т. е. местом в физическом пространстве, где сконцентрированы высшие позиции всех полей и большая часть агентов, занимающих эти доминирующие позиции. Следовательно, столица не может осмысливаться иначе, как в отношении с провинцией, которая не располагает ни чем иным кроме лишения (относительного) и столичности, и капитала.

Генезис и структура присвоенного физического пространства

Пространство, точнее, места и площади овеществленного социального пространства или присвоенного физического пространства обязаны своей дефицитностью и своей ценностью тому, что они суть цели борьбы, происходящей в различных полях, в той мере, в какой они обозначают или обеспечивают более или менее решительное преимущество в этой борьбе.

Способность господствовать в присвоенном пространстве, главным образом за счет присвоения (материально или символически) дефицитных благ, которые в нем распределяются, зависит от наличного капитала. Капитал позволяет держать на расстоянии нежелательных людей и предметы и в то же время сближаться с желательными людьми и предметами, минимизируя таким образом затраты (особенно времени), необходимые для их присвоения. Напротив, тех, кто лишен капитала, держат на расстоянии либо физически, либо символически от более дефицитных в социальном отношении благ и обрекают соприкасаться с людьми или вещами наиболее нежелательными и наименее дефицитными. Отсутствие капитала доводит опыт конечности до крайней степени: оно приковывает к месту. И наоборот, обладание капиталом обеспечивает, помимо физической близости к дефицитным благам (место жительства), присутствие как бы одновременно в нескольких местах благодаря экономическому и символическому господству над средствами транспорта и коммуникации (которое часто удваивается эффектом делегирования — возможностью существовать и действовать на расстоянии через третье лицо).

Возможности доступа или присвоения, как мы уже видели, определяются через отношение между пространственным распределением агентов, взятых нераздельно как локализованные тела и как владельцы капитала, и распределением свободных в социальном отношении благ или услуг. Отсюда следует, что структура пространственного распределения власти, иначе говоря, устойчиво и легитимно присвоенные свойства и агенты, наделенные неравными возможностями доступа к благам или их присвоению, как материальному, так и символическому, представляет собой объективированную форму состояния социальной борьбы за то, что можно назвать пространственными прибылями.

Эта борьба может принимать индивидуальные формы: пространственная мобильность, внутри- и межпоколенная — перемещения в обоих направлениях, например, между центром (столицей) и провинцией или между последовательными адресами внутри иерархизированного пространства столицы — являет собой хороший показатель успеха или поражения, полученного в этой борьбе, и более широко, всей социальной траектории (при условии понимания, что агенты разного возраста и с разной социальной траекторией, также как, например, молодые управляющие кадры высшего звена и пожилые кадры среднего звена могут временно сосуществовать на одних и тех же постах, и равным образом они могут оказаться, тоже совершенно временно, соседями по месту жительства).

Борьба за пространство может осуществляться и на коллективном уровне, в частности, через политическую борьбу, которая разворачивается, начиная с государственного уровня — политика жилья, и до муниципального уровня, а именно посредством строительства и предоставления общественного жилья или через выбор коммунального оснащения. Борьба может идти, исходя из целей конструирования гомогенных групп на пространственной основе, т. е. за социальную сегрегацию, которая есть одновременно причина и результат исключительного обладания пространством и оснащением, необходимым для группы, занимающей это пространство, и для ее воспроизводства. (Пространственное господство — одна из привилегированных форм осуществления господства, а манипулирование распределением групп в пространстве всегда служило манипулированию группами — можно, в частности, сослаться на использование пространства, практикующееся при различных формах колонизации).

Пространственные прибыли могут принимать форму прибылей локализации, которые в свою очередь могут быть подвергнуты рассмотрению в двух классах. Во-первых, рента от ситуации, которая связывается с фактом нахождения рядом с дефицитными или желательными вещами (благами или услугами, такими как образовательное, культурное или санитарное оснащение) и с агентами (определенное соседство, приносящее выгоды от спокойной обстановки, безопасности и др.) или вдали от нежелательных вещей или агентов. Во-вторых, прибыли позиции или ранга (как те, что обеспечиваются престижным адресом) — частный случай символических прибылей от отличия, которые связываются с монопольным владением отличающей собственностью. (Физические расстояния, которые можно измерить пространственными мерками или, лучше, временными мерками, по длительности времени, необходимого для перемещения в зависимости от доступности средств общественного или частного транспорта, иначе говоря, власть, которую капитал в его различных видах

дает над пространством, есть также власть над временем.) Они могут затем принимать форму прибылей от оккупации пространства (или от габаритов), т. е. от обладания физическим пространством (обширные парки, большие квартиры и т. п.), которые могут стать способом сохранения разного рода дистанции от нежелательного вторжения (это «радующие взор виды» английской усадьбы, которые, как отмечал Раймонд Вильяме в «Town and Country», превращают сельскую местность и ее крестьян в пейзаж для ублажения владельца, а нефотогеничные ракурсы» — в рекламу по недвижимости). Одно из преимуществ, которое дает власть над пространством — возможность установить дистанцию (физическую) от вещей и людей, стесняющих или дискредитирующих, в частности, через навязывание столкновений, переживаемых как скученность, как социально неприемлемая манера жить или быть, или даже через захват воспринимаемого пространства — визуального или аудио — представлениями или шумами, которые, в силу их социальной обозначенности и негативного оценивания, неизбежно воспринимаются как вмешательство или даже агрессия.

Место обитания, как социально квалифицированное физическое место, предоставляет усредненные шансы для присвоения различных материальных и культурных благ и услуг, имеющихся в распоряжении в данный момент. Шансы специфицируются для различных обитателей этой зоны по материальным (деньги, частный транспорт и др.) и культурным способностям присваивать, имеющимся у каждого агента (прислуга испанка из XVI округа Парижа[4] не имеет тех же возможностей присвоить себе блага и услуги, предлагаемые данным округом, что есть у ее хозяина). Можно физически занимать жилище, но собственно говоря, не жить в нем, если не располагаешь негласно требующимися средствами, начиная с определенного габитуса[i]. Такое положение у тех алжирских семей, которые, перебираясь из трущоб в район HLM[5], обнаруживают, что против всех ожиданий, они «сражены» новым, столь долгожданным жилищем, не имея возможности выполнить требования, которые оно негласно заключает в себе, например, необходимость финансовых средств на покрытие вновь появившихся расходов (на газ, электричество, а также транспорт, оборудование и др.), но еще воем стилем жизни, в частности, женщин, который обнаруживается в глубине с виду универсального пространства: начиная с необходимости и умения сшить шторы и кончая готовностью жить свободно в неизвестном социальном окружении.

Короче говоря, габитус [habitus] формирует место обитания [habitat] посредством более или менее адекватного социального употребления этого места обитания, которое он [габитус] побуждает из него делать. Мы подходим, таким образом, к тому, чтобы поставить под сомнение веру в то, что пространственное сближение или, более точно, сожительство сильно удаленных в социальном пространстве агентов, может само по себе иметь результатом социальное сближение, или если угодно — распад: в самом деле, ничто так не далеко друг от друга и так не невыносимо, как социально далекие друг другу люди, которые оказались рядом в физическом пространстве. И нужно еще задаться вопросом об игнорировании (активном или пассивном) социальной структуры пространства обитания и ментальных структур его предполагаемых обитателей, которое направляет стольких архитекторов поступать так, как если бы они были в силах навязать социальное употребление здания и оснащения, на которые они проецируют собственные ментальные структуры, иначе говоря, те социальные структуры, продуктом которых являются их ментальные структуры.

Можно привести частный пример семей, которые ощущают себя или являются на самом деле не на месте в предоставленном им пространстве согласно парадигме, по которой подвергаешься опасности всякий раз, когда проникаешь в пространство, не выполняя всех условий, которые пространство негласно предъявляет своим обитателям. Этим условием может быть обладание определенным культурным капиталом — истинной платой за вход, которая может воспрепятствовать реальному присвоению благ, называемых общественными, или самому желанию их присвоить. Очевидно, что здесь имеются в виду музеи, но это относится и к услугам, произвольно принимаемым за наиболее универсально необходимые (например, медицинские или юридические учреждения), или такие, что предлагают учреждения, организованные для обеспечения большего доступа к ним (социальное страхование и различные виды бесплатной помощи). Можно ценить Париж за его экономический капитал, а можно и за его культурный и социальный капиталы, однако, недостаточно войти в Бобур[6], чтобы присвоить культурные ценности музея современного искусства; нельзя быть даже уверенным в том, что необходимо и достаточно войти в залы, посвященные искусству модерна (очевидно, так делают не все посетители), чтобы сделать открытие, что недостаточно туда войти, чтобы ими овладеть...

Помимо экономического и культурного капиталов, некоторые пространства, в частности, наиболее

замкнутые, наиболее «избранные», требуют также и социального капитала. Они могут обеспечить себе социальный и символический капиталы лишь с помощью «эффекта клуба», который вытекает из устойчивого объединения в недрах одного и того же пространства (шикарные кварталы или великолепные особняки) людей и вещей, похожих друг на друга тем, что их отличает от огромного множества других, что у них есть общего, не являющегося общим. Эффект клуба действует в той мере, в какой эти люди исключают по праву (с помощью более или менее афишированной формы *pignus clausus*[iii]) или по факту (чужак обречен на некоторое внутреннее исключение, способное лишить его определенных прибылей от принадлежности) не проявляющих всех желательных свойств или проявляющих одно из нежелательных свойств.

Эффект гетто есть полная противоположность эффекту клуба. В то время, как шикарные кварталы, функционирующие как клубы, основанные на активном исключении нежелательных лиц, символически посвящают каждого из своих обитателей, позволяя ему участвовать в капитале, аккумулированном совокупностью жителей, гетто символически разлагает своих обитателей, объединяя в некоторой резервации совокупность агентов, которые, будучи лишены всех козырей, необходимых для участия в различных социальных играх, могут делиться только своим отлучением. Кроме эффекта «клеймения», объединение в одном месте людей, похожих друг на друга в своей обделенности, имеет также результатом удвоение этого лишения, особенно, в области культуры и культурной практики (и, наоборот, эффект «клеймения» укрепляет культурные практики наиболее обеспеченных).

Среди всех свойств, которые предполагает легитимное занятие определенного места, (имеются такие, и они не являются наименее определяющими, которые приобретаются лишь при длительном занятии этого места и при продолжительном посещении его законных обитателей: очевидно, это случай социального капитала связей (в особенности, таких привилегированных, как дружба с детства или с юношеских лет) или всех тех наиболее тонких аспектов культурного и лингвистического капитала, как манера держаться, акцент и т. п. Существует масса черт, которые придают особую весомость месту рождения.

Чтобы показать, каким образом власть и, в частности, власть над пространством, которую дает обладание различными видами капитала, обратно переводится в присвоенное физическое пространство в форме пространственного распределения владения и доступности дефицитных благ и услуг, частных или общественных, я попытался несколько лет назад вместе с Моник де Сен-Мартен собрать воедино ансамбль имеющихся статистических данных на уровне каждого французского департамента одновременно по показателям экономического, культурного и даже социального капиталов, и по благам и услугам, предлагаемым на этом уровне. Целью этой затеи было постараться уловить все то, чему часто приписывают результат действия физического или географического пространства, бессознательно подчиняясь действию натурализации, которое производит преобразование социального пространства в присвоенное физическое пространство. В действительности это может и должно приписываться результату действия структуры пространственного распределения как частных, так и общественных ресурсов и благ. Эта структура есть не что иное как кристаллизация в данном моменте времени целой истории единения на рассматриваемой локальной основе (регион, департамент и т. д.), ее позиции в государственном пространстве и т. п. Несмотря на то, что это исследование за отсутствием времени не было доведено до конца, оно по меньшей мере позволило сделать вывод, что главное из региональных различий, которое часто приписывают результату действия географического детерминизма (например, в логике противопоставления севера и юга), обязано своим воспроизводством в истории эффекту кругового подкрепления, непрерывно осуществляемого в ходе истории: поскольку устремления, особенно в отношении места жительства и более широко — культуры, являются большей частью продуктом структуры распределения благ и услуг в присвоенном физическом пространстве, они имеют тенденцию меняться вместе со способностью их удовлетворять, и потому результат действия неравного распределения стремлений приводит к удваиванию в каждый момент результата действия неравного распределения средств и шансов их удовлетворения.

Определив и измерив совокупность феноменов, хотя и связанных внешне с физическим пространством, но отражающих в действительности экономические и социальные различия, остается только постараться выделить неразложимый остаток, который должен быть полностью приписан эффекту близости или дистанции в чисто физическом пространстве. Например, эффекту экрана, который следует из локализации в какой-либо точке физического пространства и из антропологической привилегии принадлежать не только непосредственно воспринимаемому

настоящему, но и видимому и ощущаемому пространству со-присутствующих предметов и агентов (соседи и соседство). Таким образом, можно видеть, что вражда, связанная с близостью в физическом пространстве (конфликты между соседями, например), может затмить солидарность, ассоциирующуюся с позицией, занимаемой в государственном или межгосударственном социальном пространстве, или что представления, внушенные точкой зрения, связанной с занимаемой в локальном социальном пространстве позицией, могут воспрепятствовать восприятию реально занятой в государственном социальном пространстве позиции.

[i] Ансамбль диспозиций действия, мышления, оценивания и ощущения определенным качественным образом составляет габитус (от *habere* (лат.) иметь). Габитус — совокупность черт, которые приобретает индивид, диспозиции, которыми он располагает, или иначе говоря, — свойства, результирующие присвоение некоторых знаний, некоторого опыта. — Прим. перев.

[ii] порядок исключения (лат.).

[1] См., например, работы П. Бурдьё: *La terre et les strategies matrimoniales // Annales*, 4-5 juillet-octobre 1972; *Esquisse d'une théorie de la pratique, précédée de trois études d'ethnologie habile*. Genève: Droz, 1972.

[2] См.: Bourdieu P. *La Distinction*. Paris: Minuit, 1979.

[3] Улица Фобур де Сен-Оноре — одна из достопримечательностей Парижа. Она представляет собой ассоциацию галерей мебельщиков и декораторов, производящих по вековой традиции старинных мастеров мебель — «дворцовую», «музейную» в стиле Людовика XV, а также современную «авангардную» и предметы обихода редчайшего качества и оформления. — Прим. перев.

[4] XVI округ Парижа (округ Булонского леса) — район поселения богатых буржуазных семей. — Прим. перев.

[5] HLM — *habitation à loyer modéré* — большие дома, построенные местной администрацией и предназначенные для семей с низким доходом; общественное муниципальное жилье. — Прим. перев.

[6] Бобур — культурный центр имени Жоржа Помпиду, в котором располагаются музей современного искусства, библиотека, галереи и выставочные залы, кинотеатры и т. д. — Прим. перев.

Пьер Бурдьё

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ГЕНЕЗИС «КЛАССОВ»

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Н.А. Шматко/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 53-97.)

Построение теории социального пространства предполагает серию разрывов с марксистской теорией. Первый разрыв — с тенденцией акцентировать субстанцию, то есть реальные группы, в попытке определить их по численности, членам, границам и т. п. в ущерб отношениям, а также — с интеллектуалистской иллюзией, которая приводит к тому, что теоретический, сконструированный ученым класс рассматривается как реальный класс, как реально действующая группа людей. Далее, разрыв с экономизмом, который приводит к редукции социального поля, как многомерного пространства, к одному лишь экономическому полю, к экономическим отношениям производства, тем самым устанавливая координаты социальной позиции. Наконец, следует порвать с объективизмом, идущим в паре с интеллектуализмом, ибо в конечном счете он приводит к игнорированию символической борьбы, местом которой являются различные поля, а целью — сами представления о

социальном мире и, в частности, об иерархии внутри каждого поля и между различными полями.

## Социальное пространство

Прежде всего социология представляет собой социальную топологию. Так, можно изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированным совокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, т. е. свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов определяются, таким образом, по их относительным позициям в этом пространстве. Каждый из них размещен в позиции и в определенные классы близких друг другу позиций (т. е. в определенной области данного «пространства»), и нельзя реально занимать две противоположных области в пространстве, даже если мысленно это возможно. В той мере, в какой свойства, выбранные для построения пространства, являются активными его свойствами, можно описать это пространство как поле сил, точнее как совокупность объективных отношений сил, которые навязываются всем входящим в это поле и которые несводимы к намерениям индивидуальных агентов или же к их непосредственным взаимодействиям[1].

Действующие свойства, взятые за принцип построения социального пространства, являются различными видами власти или капиталов, которые имеют хождение в различных полях. Капитал, который может существовать в объективированном состоянии — в форме материального свойства или, как это бывает в случае культурного капитала, в его инкорпорированном[1] состоянии, что может быть гарантировано юридически — представляет собой власть над полем (в данный момент времени). Точнее, власть над продуктом, в котором аккумулирован прошлый труд (в частности, власть над совокупностью средств производства), а заодно над механизмами, стремящимися утвердить производство определенной категории благ, и через это — власть над доходами и прибылью. Отдельные виды капитала, как козыри в игре, являются властью, которая определяет шансы на выигрыш в данном поле (действительно, каждому полю или субполю соответствует особый вид капитала, имеющий хождение в данном поле как власть или как ставка в игре). Например, объем культурного капитала (то же самое с соответствующими изменениями относится к экономическому капиталу) определяет совокупные шансы на получение выигрыша во всех играх, где задействован культурный капитал и где он участвует в определении позиции в социальном пространстве (в той мере, в какой эта позиция зависит от успеха в культурном поле).

Таким образом, позиция данного агента в социальном пространстве может определяться по его позициям в различных полях, т. е. в распределении власти активированной в каждом отдельном поле. Это, главным образом, экономический капитал в его разных видах, культурный капитал и социальный капитал, а также символический капитал, обычно называемый престижем, репутацией, именем и т. п. Именно в этой форме все другие виды капиталов воспринимаются и признаются как легитимные. Можно построить упрощенную модель социального поля в его ансамбле, вообразив для каждого агента его позицию во всех возможных пространствах игры (понимая при этом, что если каждое поле и имеет собственную логику и собственную иерархию, то иерархия, установленная между различными видами капитала, и статистическая связь между имеющимися капиталовложениями устроены так, что экономическое поле стремится навязать свою структуру другим полям).

Социальное поле можно описать как такое многомерное пространство позиций, в котором любая существующая позиция может быть определена, исходя из многомерной системы координат, значения которых коррелируют с соответствующими различными переменными: таким образом, агенты в них распределяются в первом измерении — по общему объему капитала, которым они располагают, а во втором — по сочетаниям своих капиталов, т. е. по относительному весу различных видов капитала в общей совокупности собственности[2].

Форма, которую совокупность распределения различных видов капитала (инкорпорированного или материализованного) принимает в каждый момент времени, в каждом поле, будучи средством присвоения объективированного продукта аккумулированного социального труда, определяет состояние отношений силы между агентами. Агенты в этом случае определяются «объективно по их позиции в этих отношениях, институционализованной в устойчивых, признанных социально или гарантированных юридически социальных статусах. Эта форма определяет наличную или потенциальную власть в различных полях и доступность специфических прибылей, которые она



дает[3].

Знание позиции, занимаемой агентами в данном пространстве, содержит в себе информацию о внутренне присущих им свойствах (условие) или об относительных их свойствах (позиция). Это особенно хорошо видно в случае лиц, занимающих промежуточные или средние позиции, которые, помимо средних или медианных значений своих свойств, обязаны некоторыми своими наиболее типичными характеристиками тому, что располагаются между двумя полюсами поля, в нейтральной точке пространства и балансируют между двумя крайними позициями.

### Классы на бумаге

На базе знания пространства позиций можно вычленить классы в логическом смысле этого слова, т. е. класс как совокупность агентов, занимающих сходную позицию, которые, будучи размещены в сходных условиях и подчинены сходным обусловленностям, имеют все шансы для обладания сходными диспозициями и интересами, и, следовательно, для выработки сходной практики и занятия сходных позиций. Этот класс на бумаге имеет теоретическое существование, такое же, как и у любой теории: будучи продуктом объяснительной классификации, совершенно сходной с той, что существует в зоологии или ботанике, он позволяет объяснить и предвидеть практики и свойства классифицируемых, и, между прочим, поведение, ведущее к объединению в группу. Однако реально это не класс, это не настоящий класс в смысле группы, причем группы «мобилизованной», готовой к борьбе; со всей строгостью можно сказать, что это лишь возможный класс, поскольку он есть совокупность агентов, которые объективно будут оказывать меньше сопротивления в случае необходимости их «мобилизации», чем какая-либо другая совокупность агентов.

Так, в противовес номиналистскому релятивизму, уничтожающему социальные различия, сводя их к чисто теоретическим артефактам, следует утверждать существование объективного пространства, детерминирующего соответствия и несоответствия, меры близости, и дистанции. В противовес реализму интеллигентного (или овеществления понятий) следует утверждать, что классы, которые можно вычленить в социальном пространстве (например, в связи с потребностями в статистическом анализе, являющемся единственным средством обнаружить структуру социального пространства), не существуют как реальные группы, несмотря на то, что они объясняют вероятность своей организации в практические группы, семьи, ассоциации и даже профсоюзные или политические «движения».

Что существует, так это пространство отношений, которое столь же реально, как географическое пространство, перемещения внутри которого оплачиваются работой, усилиями и в особенности временем (идти снизу вверх — значит подниматься, карабкаться и нести на себе следы и отметины этих усилий). Дистанции здесь измеряются также временем (например, временем подъема или преобразования — конверсии). И вероятность мобилизации в организованные движения, с их аппаратом, официальными представителями и т. п. (что собственно и заставляет говорить о «классе») будет обратно пропорциональна удаленности в этом пространстве.

Хотя вероятность объединить агентов в совокупность, реально или номинально (посредством делегирования), тем больше, чем ближе они в социальном пространстве, чем более они принадлежат к классу, сконструированному более узко, и следовательно, более гомогенно, более тесное их сближение уже никогда не бывает необходимо, неизбежно (из-за эффектов непосредственной конкуренции, которые ставят заслон), но и сближение наиболее удаленных тоже не всегда бывает невозможным. Так, если более вероятно мобилизовать в одной реальной группе только рабочих, чем рабочих и их работодателей, то тем не менее возможно, например, под угрозой международного кризиса, спровоцировать их объединение на базе национальной идентификации (это так отчасти потому, что каждое социальное пространство национальностей в результате собственной истории имеет собственную структуру, допустим, в виде специфических расхождений в иерархии экономического поля).

Как бытие у Аристотеля, социальный мир может быть назван и построен различным образом: он может быть практически ощущаем, назван и построен по различным принципам видения и деления (например, этнического деления); при этом следует учитывать, что объединения, которые базируются на структуре пространства, основанного на распределении капитала, имеют больше возможностей стать стабильными и прочными, а другие формы группировки будут всегда в опасности распада и

оппозиции, что связано с дистанцией в социальном пространстве. Когда мы говорим о социальном пространстве, то имеем в виду прежде всего то, что нельзя объединять любого с любым, невзирая на глубинные различия, в особенности, на экономические и культурные различия. Однако, все это никогда полностью не исключает того, что можно организовать агентов по другим признакам деления: этническим, национальным и т. п., которые, заметим в скобках, всегда связаны с более глубинными принципами, т. к. этнические объединения сами находятся в иерархизированном, по меньшей мере в общих чертах, социальном пространстве (например, в США их положение зависит от стажа иммиграции для всех, за исключением черных)[4].

Итак, вот первый разрыв с марксистской традицией: марксизм либо без долгих разговоров отождествляет класс сконструированный и класс реальный, т. е. вещи в логике и логику вещей, а ведь именно в этом Маркс сам упрекал Гегеля; либо же противопоставляет «класс-в-себе», определяемый на основе ансамбля объективных условий, и «класс-для-себя», основанный на субъективных факторах, причем переход одного в другое марксизм постоянно «знаменует» как настоящее онтологическое восхождение в логике либо тотального детерминизма, либо — напротив — полного волюнтаризма. В первом случае, переход оказывается логической, механической или органической необходимостью (трансформация пролетариата из «класса-в-себе» в «класс-для-себя» представлена как исход, неизбежный во времени, по мере «созревания объективных условий»); в другом случае, он представлен как эффект «осознания», полученный в результате «познания» теории, осуществляемого под просвещенным руководством партии. Во всяком случае, здесь ничего не говорится о таинственной алхимии, согласно которой «борющаяся группа», коллектив личностей, исторических деятелей, имеющих собственные цели, внезапно появляется в определенных экономических условиях.

Посредством такого рода пропусков в рассуждениях избавляются от наиболее важных вопросов. Так, с одной стороны, исчезает сам вопрос о политическом, об истинных действиях агентов, которые во имя теоретического определения «класса» предписывают его членам цели, официально наиболее соответствующие их «объективным» интересам, т. е. интересам теоретическим, а также вопрос о работе, посредством которой им удастся произвести, если и не мобилизованный класс, то веру в его существование, лежащую в основе авторитета его официальных выразителей. С другой стороны, исчезает вопрос об отношениях между классификацией, произведенной ученым и претендующей на объективность (по аналогии с зоологом), и классификацией, которую сами агенты производят непрерывно в их будничном существовании, с помощью чего они стремятся изменить свою позицию в объективной классификации или даже изменить сами принципы, согласно которым эта классификация осуществляется.

### Восприятие социального мира и политическая борьба

Наиболее решительная объективистская теория должна интегрировать представления, имеющиеся у агентов о социальном мире, точнее, их вклад в построение видения социального мира и через это в самое построение социального мира, посредством работы представления (во всех смыслах этого термина), которую они ведут непрерывно, дабы навязать свое видение мира или видение своей собственной позиции в этом мире, своей социальной идентичности. Восприятие социального мира есть продукт двойного социального структурирования. С «объективной» стороны, оно структурировано социально, поскольку свойства, сопряженные с агентами или с институтами предстают восприятию не каким-то независимым образом, но, напротив, в очень неравновероятных комбинациях (и так же, как у животного, имеющего перья, больше шансов обладать крыльями, чем у животного, имеющего мех, так и у владельцев большого культурного капитала больше шансов стать посетителями музеев, чем у тех, кто этого капитала лишен). А с «субъективной» стороны, восприятие социального мира структурировано в силу того, что схемы восприятия и оценивания приспосабливаются к рассматриваемому моменту, и все то что представлено, в частности, в языке, есть продукт предшествующей символической борьбы и выражает в более или менее видоизмененной форме состояние расстановки символических сил. Тем не менее, объекты могут быть восприняты и выражены различным образом, Ибо как объекты природного мира они всегда предполагают частичную неопределенность и расплывчатость, поскольку, например, наиболее устойчивые сочетания свойств никогда не базируются лишь на статистических связях между субституирующими чертами; а как объекты истории, они подвержены изменениям во времени, и их значение, в меру его «подвешенности» в будущем, само нерешено, в ожидании, отсрочено и через это относительно недетерминировано. Эта сторона дела — неопределенность — есть то, что подводит базу под

плюрализм видения мира. Она сама связана со множественностью точек зрения и со всеми символическими битвами за производство и навязывание легитимного видения социального мира. Говоря точнее, она связана со всеми когнитивными стратегиями восполнения, которые продуцируют смысл объектов социального мира, выходя за рамки непосредственно видимых атрибутов и отсылая к будущему или к прошлому. Эти отсылки могут быть скрытыми и молчаливо подразумеваемыми, через «протекцию» и «ретенцию», как это называет Гуссерль, т. е. практическими формами перспективного и ретроспективного видения, исключаящими как таковые позиции прошлого и будущего; но такие отсылки могут быть и явными, как в случае политической борьбы, где к прошлому, (ретроспективно реконструируемому сообразно потребностям настоящего), и, в особенности, к будущему, (творчески предвидимому), беспрестанно призывают, чтобы детерминировать, разграничивать, определять всегда открытый смысл настоящего.

Напомнить, что восприятие социального мира содержит конструктивный акт, отнюдь не значит принять интеллектуалистскую теорию познания. Главное в опыте социального мира и в работе по его конструированию то, что он предполагает обращение к практике ниже уровня эксплицитного представления и вербализованных выражений. Чувство позиции, занимаемой в социальном пространстве (то, что Гоффман называет «sense of one's place» [ii]), будучи ближе к классовому бессознательному, чем к «сознанию класса» в марксистском смысле, есть практическая материя социальной структуры в ее ансамбле, который раскрывается через ощущение позиции, занятой в этой структуре. Категории перцепции социального мира являются в основном продуктом инкорпорации объективных структур социального пространства. Вследствие этого они склоняют агентов брать социальный мир, скорее, таким, каков он есть, к принятию его как само собой разумеющегося, нежели восставать против него и противопоставлять ему различные — даже антагонистические — возможности. Чувство позиции, как чувство того, что можно и чего нельзя «себе позволить», заключает в себе негласное принятие своей позиции, чувство границ («это не для нас») или, что сводится к тому же, чувство дистанции, которую обозначают и держат, уважают или заставляют других уважать — причем, конечно, тем сильнее, чем более суровы условия существования и чем более неукоснителен принцип реальности. (Поэтому глубокий реализм, которым чаще всего характеризуется видение социального мира у занимающих подчиненное положение, функционируя как некоего рода социально установленный инстинкт самосохранения, может казаться консервативным лишь относительно внешнего, а значит, нормативного представления об «объективном интересе» тех, кому этот реализм помогает жить или выживать.) [5]

Если отношения объективных сил стремятся воспроизвести себя в том видении социального мира, которое постоянно включено в эти отношения, то, значит, принципы, структурирующие это видение мира, коренятся в объективных структурах социального мира, а отношения силы также представлены в сознании в форме категорий восприятия этих отношений. Но частичная недетерминированность и размытость, предполагаемая объектами социального мира, вкупе с практическим, дорефлексивным и имплицитным характером схем восприятия и оценивания, накладываемых на эти объекты, есть та архимедова точка опоры, которая объективно оказывается в распоряжении для действий чисто политического характера. Познание социального мира, точнее, категории, которые делают социальный мир возможным, суть главная задача политической борьбы, борьбы столь же теоретической, сколь и практической, за возможность сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира.

Способность осуществить в явном виде, опубликовать, сделать публичным, так сказать, объективированным, видимым, должным, т. е. официальным, то, что должно было иметь доступ к объективному или коллективному существованию, но оставалось в состоянии индивидуального или, серийного опыта, затруднения, раздражения, ожидания, беспокойства, представляет собой чудовищную социальную власть — власть образовывать группы, формируя здравый смысл, явно выраженный консенсус для любой группы. Действительно, эта работа по выработке категорий — выявлению и классификации — ведется непрерывно, в каждый момент обыденного существования, из-за той борьбы, которая противопоставляет агентов, имеющих различные ощущения социального мира и позиции в этом мире, различную социальную идентичность, при помощи всевозможного рода формул: хороших или плохих заявлений, благословений или проклятий, злословия или похвал, поздравлений, славословий, комплиментов или оскорблений, упреков, критики, обвинений, клеветы и т. п. Неслучайно *kategoresthai*, от которого происходят категории и категоремы, означает «обвинить публично».

Понятно, что одна из простейших форм политической власти заключалась во многих архаических обществах в почти магической власти: называть и вызывать к существованию при помощи номинации. Так, в Кабилии функции разъяснения и работа по производству символического, особенно в ситуации кризиса, когда ощущение мира ускользает, приносили поэтам видные политические посты военачальников или послов[6]. Но вместе с ростом дифференциации социального мира и со становлением относительно автономных полей работа по производству и внушению смыслов осуществляется в поле производства культуры и посредством борьбы внутри него (и в особенности — в недрах политического субполя); она является собственным делом и специфическим интересом профессиональных производителей объективированных представлений о социальном мире или, еще лучше, методов этой объективации.

Стиль легитимной перцепции является основной целью борьбы, поскольку, с одной стороны, переход от скрытого к явному, от имплицитного к эксплицитному не совершается автоматически: один и тот же социальный опыт может быть признан в его очень разных выражениях; а с другой стороны — наиболее значительные объективные различия могут быть замаскированы более непосредственно видимыми различиями (как, например, этнические различия). Если верно, что перцептивные конфигурации — социальные гештальты — действительно существуют, а близость условий и, следовательно, диспозиций, стремится отлиться в прочные связи и перегруппировки, в непосредственно воспринимаемые социальные единицы, такие, как социально различные районы или кварталы (с пространственной сегрегацией), или в такие, как общность агентов, обладающих полностью сходными видимыми особенностями — Stande[iii], — то, тем не менее, социально познанные и признанные различия существуют лишь для субъекта, способного не только ощущать различия, но и признавать их как значимые, задевающие его интересы, т. е. для такого субъекта, который наделен способностью и склонностью делать различия, считающиеся значимыми в рассматриваемом социальном универсуме.

Таким образом, именно посредством свойств и их распределения социальный мир приходит, в самой своей объективности, к статусу символической системы, которая организуется по типу системы феноменов в соответствии с логикой различий» различных расхождений, а также заключающейся и в значимых различиях. Социальное пространство и различия, которые проявляются в нем «спонтанно», стремятся функционировать символически как пространство стилей жизни или как ансамбль Stande, групп, характеризующихся различным стилем жизни.

Различия необязательно включают в себя стремление к различению, как часто считают вслед за Вебленом с его теорией conspicuous consumption[iv]. Всякое потребление (а в более общем виде, всякая практика), осуществлялось оно или нет в целях быть увиденным, является явным, бросающимся в глаза (conspicuous); было оно или не было инспирировано намерением быть замеченным, обособиться (to make oneself conspicuous[v]), дистанцироваться или действовать, соблюдая дистанцию, оно является различительным. На этом основании потребление обречено функционировать как различительный знак и, если обратиться к признанной, легитимной и подтвержденной дифференциации, — как знак отличия (в разных смыслах этого слова). Как бы то ни было, социальные агенты, способные воспринимать как значимые «спонтанные» различия, которые категории перцепции заставляют их считать уместными, — эти социальные агенты способны также преднамеренно удваивать эти спонтанные различия в стиле жизни при помощи того, что Вебер называет «стилизацией жизни» (Stilisierung des Lebens). Стремление к различению, которое можно заметить по манере говорить или по отказу от мезальянса, производят разделения, направленные на то, чтобы их воспринимали, или, более того, чтобы их узнавали и признавали как легитимные различия, т. е., чаще всего как природные различия — «distinctions de nature» (во французском языке говорят обычно о естественных различиях — «distinctions naturelles»).

Различение — в обычном смысле этого термина — это различие, вписанное в структуру самого социального пространства, поскольку оно воспринимается в соответствии с категориями, согласованными с этой структурой; и веберовский Stand, который любят противопоставлять классу в марксизме, — это класс, сконструированный посредством адекватного деления социального пространства, когда класс воспринимают сообразно с категориями, производными, от структуры этого пространства. Символический капитал — другое имя различения. Оно является ни чем иным, как капиталом в том его виде, в каком его воспринимают агенты, наделенные категориями перцепции, происходящими от инкорпорации структуры его распределения, т. е. когда этот капитал узнается и признается как нечто само собой разумеющееся. Различения как символические трансформации

фактических различий и, более широко — ранги, порядки, градации или же любые другие символические иерархии — являются продуктом применения схем построения. Эти схемы (как, например, пара прилагательных, используемых для выражения подавляющего большинства социальных суждений) являются продуктом инкорпорации структур, к которым они прикладываются, а признание их абсолютной легитимности есть не что иное, как восприятие обычного миропорядка в качестве идущего самого по себе, что подводит итог кажущемуся безукоризненным совпадению объективных и инкорпорированных структур.

Из этого следует, кроме всего прочего, что символический капитал идет к символическому капиталу, и что реальная автономия поля символического производства не препятствует тому, что оно остается подчиненным в своем функционировании принуждению, которое господствует в социальном мире, и что соотношение объективных сил стремится воспроизвести себя в соотношении символических сил, в видении социального мира. Таким образом утверждается неизменность этих соотношений сил. В борьбе за навязывание легитимного видения социального мира, в которую неизбежно вовлечена и наука, агенты располагают властью, пропорциональной их символическому капиталу, т. е. тому признанию, которое они получают от группы. Авторитет, подводящий базу под силу действия недостаточно обоснованного дискурса о социальном мире, есть символическая „сила видения и предвидения, направленная на внушение принципов видения и разделения этого мира, это — *recipere*[vi], бытие узнанное и признанное (*nobilis*[vii]), что позволяет навязать *recipere*[viii]. Наиболее очевидными среди применяемых категорий перцепции являются те, которые наилучшим образом приспособлены, чтобы изменять видение, меняя категории перцепции. Но также, за редким исключением, наименее склонные это делать.

#### Символический порядок и власть номинации

В символической борьбе за производство здравого смысла или, точнее, за монополию легитимной номинации как официального — эксплицитного и публичного — благословения легитимного видения социального мира, агенты используют символический капитал, приобретенный ими в предшествующей борьбе, и, собственно, любую власть, которой они располагают в установленной таксономии, представленной в сознании или в объективной действительности как названия (*les titres*) Так, все символические стратегии, посредством которых агенты намереваются установить свое видение деления социального мира и свои позиции в этом мире, можно расположить между двумя крайними точками оскорбление, *idios logos*[ix], когда простое частное лицо стремится внушить свою точку зрения, рискуя получить аналогичный ответ, и официальная номинация — акт символического внушения, который имеет для этого всю силу коллективного, силу консенсуса, здравого смысла, поскольку он совершен через доверенное лицо государства, обладателя монополии на легитимное символическое насилие. С одной стороны — универсум частных перспектив, единичных агентов, которые, исходя из своей личной точки зрения, производят частные и корыстные номинации — самих себя и других (прозвища, клички, оскорбления или же, по крайней мере, обвинения, упреки и т. п.), и которые тем более заинтересованы в том, чтобы сделать эти номинации признанными, т. е. произвести эффект чисто символический, чем менее их авторы уполномочены персонально (*ascioritas*[x]) и институционально (делегирование), и чем более они непосредственно заинтересованы в том, чтобы сделать признанной ту точку зрения, которую они стараются внушить[7]. С другой стороны — разрешенная точка зрения агента, уполномоченного на персональном уровне, например, великого критика, престижного автора предисловий к книгам или признанного автора («Я обвиняю»), и, в особенности, легитимная точка зрения официального проповедника, уполномоченного государства, «ортогонального в любой перспективе», говоря словами Лейбница. Официальная номинация или звание, например, ранг диплома, имеет ценность на любом рынке, поскольку официальное определение официальной идентичности вырывает своих обладателей из символической борьбы всех со всеми, наделяя своих агентов разрешенной, признанной всеми, универсальной перспективой. Государство, которое производит официальную классификацию, есть своего рода Верховный суд, к которому адресуется Кафка, когда заставляет Блока говорить об адвокате и его претензии ставить себя в ряд «крупных адвокатов»: «Конечно, каждый может называть себя «крупным», если ему это заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо»[8]. Правда в том, что научный анализ не выбирает между перспективизмом и тем, что следует называть, скорее, абсолютизмом: в действительности правда социального мира — это суть борьбы между очень неравно вооруженными агентами за то, чтобы добраться до совершенного, т. е. до самоконтролируемого, видения и предвидения.

Можно в этой перспективе проанализировать функционирование одного из институтов: Национального института статистических исследований и экономики (INSEE). Это государственный институт, который, производя официальные таксономии, получающие, особенно в отношении между нанимателями и наемными работниками, практически юридическую ценность, значение правового акта, способного сообщить независимые права фактически осуществляемой производственной деятельности, пытается фиксировать иерархию и с помощью этого стремится санкционировать и закрепить соотношение сил между агентами через названия их профессий и занятий, составляющих главное в социальной идентификации[9]. Управление названиями, будучи одним из инструментов управления материальными приоритетами и групповыми именами, в частности; названиями профессиональных групп, регистрирует состояние борьбы и торгов по поводу официального обозначения, а также материальных и символических преимуществ, связанных с ним. Название профессии, которым наделены агенты, данное им звание, являются положительным или отрицательным подкреплением (на том же основании, что и зарплата), поскольку отличительный знак (эмблема или клеймо), получая ценность своей позиции только в иерархически организованной системе званий, участвует тем самым в определении относительных позиций между агентами и группами. В итоге агенты прибегают к практической или символической стратегии с целью максимизировать символическую прибыль от номинации: например, они могут отказываться от гарантированных для определенного поста денежных пособий, чтобы занять позицию, менее оплачиваемую, но с более престижным названием, или обратиться к позиции, название которой более расплывчато, чтобы избежать тем самым эффекта символической девальвации; так, определяя свою профессиональную идентичность, они могут назваться именем, которое охватывает более широкий класс, чтобы включить в него также агентов, занимающих более высокие позиции, допустим, учитель представляется преподавателем. В более общем виде агенты всегда имеют выбор между несколькими названиями и могут играть на неизвестности и неопределенности, связанных со множественностью перспектив, чтобы постараться избежать приговора официальной таксономии.

Логика официальной номинации видна как никогда хорошо на примере звания — дворянского, ученого, профессионального, т. е. символического капитала, гарантированного юридически. Дворянин (*le noble*) — это не просто тот, кто известен, знаменит, и даже известен с хорошей, престижной стороны, короче — *pobilis*, но тот, кто признан официальными, «универсальными» инстанциями, т. е. тот, кто узнаваем и признаваем всеми. Профессиональное или ученое звание — это определенного рода юридическое правило социальной перцепции, воспринимаемое бытие, гарантированное как право. Это институционализированный и законный (а не просто легитимный) символический капитал, все более и более неотделимый от ученого звания, поскольку система образования стремится все более и более представить дальнейшие и верные гарантии для всех профессиональных званий. Символический капитал обладает также самоценностью и, хотя речь идет об общем имени, функционирует по типу великих имен (имен больших семей или имен собственных), используя всю возможную символическую прибыль (и блага, которые не продаются за деньги)[10].

Именно символическая дефицитность звания в пространстве имен профессий, а не соотношение между спросом и предложением на некоторые виды труда, стремится господствовать над профессиональным вознаграждением. Из этого следует, что вознаграждение за звание имеет тенденцию автономизироваться по отношению к вознаграждению за труд. Так, за один и тот же труд можно получить разное вознаграждение в зависимости от того, кто его выполнил (штатный сотрудник/временно исполняющий обязанности, штатный сотрудник/функционер и т. п.). Звание само по себе (как и язык) — институция более прочная, чем внутренние характеристики труда. Вознаграждение за звание может сохраняться, несмотря на изменения в труде и его относительной ценности: не относительная ценность труда определяет ценность имени, но институционализированная ценность звания служит инструментом, позволяющим защитить и сохранить ценность труда[11].

Иными словами, нельзя заниматься наукой классификации, не занимаясь наукой борьбы классификаций и не учитывая в этой борьбе за власть знания, за власть посредством знания, за монополию легитимного символического насилия позицию каждого агента или группы агентов, которые в эту борьбу вовлечены, идет ли речь об отдельном индивидуе, обреченном на риск в ежедневной символической борьбе, или о профессионалах — лицах уполномоченных (и на постоянной работе). Среди последних находятся те, кто говорит или пишет о социальных классах и различает их в зависимости от собственной классификации, связанной в большей или меньшей степени с

государством, и те, кто является обладателями монополии на официальную номинацию, на «правильную» классификацию, на «правильный» порядок.

Структура социального пространства определяется в каждый момент структурой распределения капитала и прибыли, специфических для каждого отдельного поля, но тем не менее, в каждом из этих пространств игры определение цели и козырей может само быть поставлено на карту. Каждое поле является местом более или менее декларированной борьбы за определение легитимных принципов деления поля. Вопрос о легитимности возникает из самой возможности спрашивать, ставить под вопрос, из разрыва с доксой[xi], которая воспринимает обычный порядок как сам по себе разумющийся. Исходя из этого, символические силы участников борьбы никогда не бывают полностью независимы от их позиции в игре, даже если чисто символическая власть включает силы, сравнительно автономные по отношению к другим формам социальных сил. Давление необходимости, вписанной в саму структуру различных полей, вынуждает также к символической борьбе, направленной на сохранение или трансформацию этой структуры. Социальный мир в значительной мере есть то, что делают в каждый момент его агенты; но разрушить и переделать сделанное можно лишь на основе реального знания о том, что из себя представляет социальный мир и какое влияние агенты оказывают на него в зависимости от занимаемой ими позиции.

Короче говоря, научная работа имеет целью установление адекватного знания и о пространстве объективных связей между различными позициями, определяющими поле, и о необходимых связях, установленных через опосредование габитуса тех, кто занимает позиции в данном поле; так сказать, о связях между этими позициями и соответствующим видением позиции, т. е. между точками, занятыми в данном пространстве, и точками зрения на это же пространство, участвующими в действительности и в становлении этого пространства. Другими словами, выход за объективные границы построенных классов, т. е. за границы областей установленного пространства позиций, позволяет понять принцип и действие стратегий распределения по классам, посредством которых агенты сохраняют или изменяют это пространство; на первом месте среди них — построение групп, организованных с целью защитить интересы их членов.

Анализ борьбы за классификации проливает свет на политическое притязание, неотступно следующее за гносеологическим притязанием производить хорошую классификацию: притязание, которое, собственно, и определяет гех'a[xii], что, согласно Бенвенисту, составляет органическую часть гегеге fines и гегеге sacra[xiii], вербального проведения границ между группами, но также между священным и светским, между добрым и злым, низким и возвышенным. Рискуя превратить социальную науку в способ продолжать политику другими средствами, ученый должен сделать объектом своих исследований намерение определять других по классам и тем самым объявлять им, кем они являются и кем могут быть (со всей двойственностью такого предвидения); он должен анализировать, (чтобы добровольно отказываться от них) притязания на творческое видение мира, тот сорт *intuitus originarius*[xiv], который порождает вещи сообразно своему видению (здесь вся двойственность марксистского класса, в котором неотделимы бытие и долженствование). Ученый должен объективировать свое намерение объективировать, давать извне объективно оценку агентам, которые борются за то, чтобы классифицировать и самоклассифицироваться. Если ему приходится классифицировать, производя — в силу необходимости делать статистический анализ — разбиение сплошного пространства социальных позиций, то только для того, чтобы быть в состоянии объективировать все формы объективации, от частного оскорбления до официального наименования, не забывая о требованиях судить эту борьбу именем «аксиологического нейтралитета», характеризующего науку в позитивистском и бюрократическом ее определении. Символическая власть агентов как власть показывать — *theorem* — и убеждать, производить и вводить классификацию, легитимную или легальную, зависит на деле, как нам напоминает пример гех'a, от позиции занимаемой в пространстве (и от классификаций, которые туда потенциально вписаны). Но объективировать объективацию значит, прежде всего, объективировать поле производства объективных представлений о социальном мире, и в частности, законодательную таксономию, короче, объективировать поле производства культуры или идеологии, — игры, которой ученый сам захвачен, как и все, кто обсуждает социальные классы.

Политическое поле и эффект гомологии

Итак, следует ориентироваться именно на это поле символической борьбы, где профессионалы

представления (во всех смыслах этого слова) противостоят друг другу по поводу какого-то иного поля символической борьбы, если мы намерены, ничем не жертвуя мифологии осознания, понять переход от практического ощущения занимаемой позиции, которое само по себе может служить различным объяснениям, к чисто политическим демонстрациям. Агенты, стоящие в подчиненной позиции в социальном пространстве, занимают ее также и в поле производства символической продукции, поэтому неясно, откуда они могли бы получить инструменты символического производства, необходимые для выражения их личной точки зрения на социальное, если бы собственная логика поля культурного производства и специфические интересы, которые в нем присутствуют, не имели бы своим следствием склонить фракцию профессионалов, вовлеченных в это поле, предоставить подчиненным агентам, на основе общности их позиции, инструменты разрыва с представлениями, рождающимися из непосредственной сложности социальных и ментальных структур, которые стремятся утвердить постоянное воспроизводство распределения символического капитала. Феномен, который марксистская традиция определяет как «внешнее сознание», т. е. тот вклад, который некие интеллектуалы вносят в производство и распространение — в особенности среди агентов, имеющих подчиненную позицию, — видения социального мира, отличного от господствующего, может пониматься социологически лишь тогда, когда учитывают гомологию между подчиненной позицией производителей культурных благ в поле властных отношений (или в разделении труда по доминированию) и позицией в социальном пространстве агентов, наиболее полно владеющих средствами экономического и культурного производства. Однако построение модели социального мира, которую утверждает такой анализ, подразумевает резкий разрыв с одномерным и прямолинейным представлением о социальном мире, выражающемся в дуалистском видении, согласно которому универсум оппозиций, составляющих социальную структуру, будет редуцироваться к оппозиции между собственниками средств производства и продавцами рабочей силы.

Недостаточность марксистской теории классов, и в особенности ее неспособность учитывать ансамбль объективно регистрируемых различий, является результатом сведения социального мира к одному лишь экономическому полю, которым марксистская теория приговорила себя к определению социальной позиции по отношению к одной лишь позиции в экономических отношениях производства, и игнорирования позиций, занимаемых в различных полях и субполях, в частности, в отношениях культурного производства, так же, как и во всех оппозициях, структурирующих социальное поле и несводимых к оппозиции между собственниками и несобственниками средств экономического производства. Таким образом, эта теория привязана к одномерному социальному миру, организованному просто вокруг противоречия между двумя блоками (одним из ведущих становится вопрос о границах между этими двумя блоками, со всеми вытекающими из этого побочными бесконечно обсуждающимися вопросами, о рабочей аристократии, об «обуржуазивании» рабочего класса и т. п.). В реальности, социальное пространство есть многомерный, открытый ансамбль относительно автономных полей, т. е. подчиненных в большей или меньшей степени прочно и непосредственно в своем функционировании и в своем изменении полю экономического производства: внутри каждого подпространства те, кто занимает доминирующую позицию и те, кто занимает подчиненную позицию, беспрестанно вовлечены в различного рода борьбу (но без необходимости организовывать столько же антагонистических групп).

Однако тот факт, что на базе гомологии позиций внутри различных полей (и того, что в них есть инвариантного, стало быть — общего, в отношении между господствующими и подчиненными) могут устанавливаться более или менее устойчивые союзы, основывающиеся всегда на более или менее сознательном недоразумении, наиболее важен, чтобы разорвать круг символического воспроизводства. Гомология позиции между интеллектуалами и рабочими, занятыми в производстве, когда первые занимают в поле власти позиции, гомологичные тем, которые занимают рабочие по отношению к позициям хозяев индустрии или коммерции в ансамбле социального пространства, лежит в основе двусмысленного союза, в котором производители культуры (подчиненные среди доминирующих) предлагают — ценой растраты накопленного ими культурного капитала — агентам, занимающим подчиненные позиции, возможность объективно представлять их видение мира и их представление о собственных интересах в объяснительной теории и в институционализированных инструментах представлений — профсоюзных организациях, партиях, социальных технологиях мобилизации и манифестации и т. п. [12].

Нужно, однако, остерегаться трактовать гомологию позиции — сходство в различии — как идентичность условий (так было, например, в идеологии «трех Р» — «patron, père, professeur» хозяин, отец, профессор, развитой в движении гошистов в период 1968 года). Без сомнения, одна и та же



структура, понимаемая как инвариант различных форм распределения, встречается в различных полях, что объясняет плодотворность мышления по аналогии в социологии; как бы то ни было, по меньшей мере, принцип дифференциации каждый раз разный, как суть и природа прибыли, т. е. экономика практики. В действительности, важно установить верную ранжировку принципов иерархии, т. е. разных видов капитала. Знание иерархии принципов деления позволяет определить ограничения, в которых действуют субординированные принципы, и заодно — ограничения подобий, связанных с гомологией; отношения других полей к полю экономического производства являются одновременно отношениями структурной гомологии и отношениями каузальной зависимости; форма каузальных детерминаций, определенная структурными связями и силой доминирования тем больше, чем отношения, в которых они выражаются, ближе к отношениям экономического производства.

Следует анализировать специфические интересы, которые уполномоченные лица должны иметь, занимая данную позицию в политическом поле и в субполе партии или профсоюза, и показывать все «теоретические» эффекты, которые они определяют. Большое число ученых дискуссий вокруг «социальных классов» (например, о проблемах «рабочей аристократии» или о «кадровых специалистах») лишь бесконечно пересматривают практические вопросы, что предписывается политическим властям: всегда лицом к требованиям практики (часто противоречивым), порождающим логику борьбы внутри политического поля, как необходимости доказывать его значительность, или рождающим усилия мобилизовать наибольшее число голосов или мандатов, утверждая несводимость своей программы к программам других претендентов. Эти дискуссии приговорены ставить проблемы социального мира в типично субстанциалистской логике границ между группами и возможным объемом мобилизуемых групп, они могут стараться разрешить проблемы, которые считают относящимися ко всем социальным группам  $\frac{3}{4}$  познать и добиться признания их силы, т. е. Их существования, прибегнув к концептам с изменяемой геометрией, как, например, «рабочий класс», «народ», или «трудящиеся». Но мы увидели бы, прежде всего, что эффект специфических интересов, связанных с занятой в поле позицией, и с конкуренцией за навязывание своего видения социального мира, склоняет теоретиков и их профессиональных официальных выразителей, тех, кого на обыденном языке называют «освобожденными работниками», к производству дифференцированного, специализированного продукта, который, исходя из гомологии между полем профессиональных производителей и полем потребителей мнения, является как бы автоматически подогнанным к различным формам спроса, а этот последний определяется  $\frac{3}{4}$  в данном случае как никогда более  $\frac{3}{4}$  спросом на различия, противопоставления, которые к тому же способствуют производству, позволяя ему находить соответствующее выражение. Выработка позиции, так сказать предложение политического продукта, определяется именно структурой политического поля, иначе говоря, объективной связью агентов, находящихся в разных позициях, и связью между видением конкурирующих позиций, которые они предлагают  $\frac{3}{4}$  что имеет столь же непосредственное отношение к мандатам. Исходя из того, что интересы, непосредственно вовлеченные в борьбу за монополию легитимного выражения правды о социальном мире, стремятся быть специфическим эквивалентом интересов тех, кто занимает гомологичные позиции в социальном поле, политические выступления подпадают под некую структурную двойственность: с внешней стороны они непосредственно относятся к мандатам, а в действительности направлены к конкурентам в поле.

Определение политической позиции в данный момент времени (например, результаты выборов) является также продуктом встречи политического предложения объективированного политического мнения (программы, партийные платформы, заявления и т. д.), связанного со всей предшествующей историей поля производства, и политического спроса, связанного, в свою очередь, с историей отношения между спросом и предложением. Корреляция, фиксируемая в конкретный момент между выработкой позиции по той или иной политической проблеме и позициями в социальном пространстве, может быть полностью понята лишь тогда, когда мы замечаем, что классификация, введенная избирателями для определения их собственного выбора (например, правый/левый) является продуктом всей предшествующей борьбы, и что выбор, тем не менее, сам исходит от классификации, введенной аналитиком, чтобы ранжировать не только мнения, но и агентов, которые их выражают. Вся история социального поля постоянно представлена в двух формах: в материализованной — в институциях (освобожденные работники партий и профсоюзов), и в инкорпорированной — в диспозициях агентов, усилиями которых функционируют данные институции, и за которые эти агенты борются (что сопровождается эффектом гистерезиса, связанного с преданностью). Все признанные формы коллективной идентификации — «рабочий класс», «управленческие кадры», «ремесленники», «специалисты», «профессура» и т. п. — являются продуктами медленной и длительной коллективной проработки, однако, не являются полностью

искусственными (это было бы ошибкой и никогда бы не удалось сделать). Каждый из корпусов представлений, которые вызывают к жизни представляемые корпуса: корпорации, сословия, гильдии и др., наделенные известной и признанной социальной идентификацией, сам существует через посредство всего ансамбля институций, являющихся столь же историческими изобретениями, как и аббревиатура, *sigillum authenticum*[xv], по выражению юристов канонического права, печать или штамп, бюро или секретариат, обладающий монополией на подпись и на *plena potentia agendi et loquendi*[xvi] и т. д. Как результат борьбы, которая разворачивалась в недрах политического поля и вне его, в частности по вопросу о государственной власти, это представление должно иметь свои специфические характеристики в частной истории политического поля и в истории конкретного государства (чем, между прочим, и объясняются различия между представлениями о социальном делении и, следовательно, о представляющих их группах в разных странах). Чтобы не позволить себе принять за следствие работы по натурализации то, что любая группа стремится производить в целях собственной легитимации, и оправдать полностью свое существование, нужно всякий раз реконструировать работу истории, продуктом которой являются социальное деление и социальное восприятие этого деления. Адекватно определенная социальная позиция агента дает наилучшее предвидение его практики и представлению, но во избежание сопоставления с тем, что раньше называли общественное положение, с социальной идентификацией агента (в настоящее время все более отождествляемой с профессиональной идентификацией) и местом общественного положения в старой метафизике, т. е. функцией сущности, из которой вытекают все аспекты исторического существования — в соответствии с формулой *operatio sequitur esse*[xvii], — нужно ясно понимать, что этот статус, как и габитус, который им порождается, являются историческими продуктами, что они склонны в большей или меньшей степени меняться с течением истории.

#### Класс как представление и воля

Чтобы изучить, как создается и учреждается власть создавать и учреждать, власть, имеющая официального представителя, например, руководителя партии или профсоюза, недостаточно учитывать специфические интересы теоретиков или представителей и структурное сходство, которое их объединяет по полномочиям, необходимо также анализировать логику, обыкновенно воспринимаемую дописываемую как процесс делегирования, в котором уполномоченное лицо получает от группы власть образовывать группу. Здесь можно следовать, преобразовывая их анализ, историкам права (Канторовиц, Пос и др.), когда они описывают мистерию министерства — любезную юристам |; канонического права игру слов *mysterium*[xviii] и *ministerium*[xix] Тайна процесса пресуществления, которая совершается через превращение официального представителя в группу, чье мнение он выражает, не может быть разгадана иначе, чем в историческом анализе генезиса и функционирования представления, при помощи которого представитель образует группу, которая произвела его самого. Официальный представитель, обладающий полной властью говорить и действовать во имя группы, и, вначале, властью над группой с помощью магии слова приказа, замещает группу, существующую только через эту доверенность; персонифицируя одно условное лицо, социальный вымысел, официальный представитель выхватывает тех, кого он намерен представлять как изолированных индивидов, позволяя им действовать и говорить через его посредство, как один человек. Взамен он получает право рассматривать себя как группу, говорить и действовать, как целая группа в одном человеке: «*Status est magistratus*»[xx], «Государство — это я», «Профсоюз думает, что...» и т. п.

Тайна министерства есть как раз такой случай социальной магии, когда вещь или персона становятся вещью отличной от того, чем они являются: Человек (министр, епископ, делегат, депутат, генеральный секретарь и т. д.) имеет возможность идентифицировать себя в собственных глазах и в глазах других с совокупностью людей, с Народом, с Трудящимися, и т. п. или с социальной целостностью, Nation, Государством, Церковью, Партией. Мистерия министерства находится в своем апогее, когда группа не может существовать иначе, как через делегирование ее официальному представителю, который порождает эту группу, говоря для нее, то есть для ее блага и от ее лица. Круг замыкается: группа определена через того, кто говорит от ее имени, возникшего, как начало власти, осуществляемой им над теми, кто является в ней истинным началом. Это замкнутое отношение есть источник харизматических иллюзий, которые проявляются предельным образом в том, что официальный выразитель может показаться и явить себя как *causa sui*. Политическое отчуждение находит свое начало в том факте, что изолированные агенты — тем сильнее, чем более они обеднены символически — могут конституироваться как группа, т. е. как сила, способная заставить понять себя в

политическом поле, только лишаясь прибыли в интересах аппарата, а также в том, что приходится постоянно рисковать лишением политической собственности, чтобы избежать истинной политической экспроприации. Фетишизм, согласно Марксу, есть то, что случается, когда «продукты человеческой головы появляются как дар самой жизни»; политический фетишизм заключается более точно в факте, что ценность целостного персонажа, этого продукта человеческой головы, проявляется как неуловимая харизма, загадочное объективное свойство индивида, неуловимый шарм, невыразимое таинство. Министр или пастор, посланник церкви или посланник государства, состоят в метонимическом отношении с группой; являясь лишь частью группы, посланник действует как знак, замещающий целую группу. Это он, как совершенно реальный заместитель полностью символического существования содействует «ошибке категории», как сказал бы Риль, достаточно похожей на детскую ошибку, когда, увидев проходящих в строю солдат, составляющих полк, спрашивают, где же полк: в его единственно явном существовании он преобразует безупречное серийное разнообразие изолированных индивидов в одно юридическое лицо, *collectio personarum plurium in corporatio*[xxi], в конституированный корпус, и может даже в результате мобилизации и манифестации проявить себя как социальный агент.

Политика является исключительно благодатным местом для эффективной символической деятельности, понимаемой как действия, осуществляемые с помощью знаков, способных производить социальное, и, в частности, группы. Благодаря наиболее старому метафизическому действию, связанному с существованием символизма, того, который позволяет считать существующим все, что может быть обозначено (Бог или небытие), политическое представление постоянно производит и воспроизводит форму, производную от любимого логиками аргумента короля Франции Людовика Лысого: любое предикативное выражение, имеющее субъектом «рабочий класс» скрывает экзистенциальное выражение («рабочий класс существует»). В более общем виде все выражения, имеющие субъектом коллективность, например, Народ, Класс, Университет, Школа, Государство, предполагают решенным вопрос о существовании указанных групп и содержат в себе тот сорт «ложного метафизического стиля», который мы могли обнаружить в онтологическом аргументе. Официальный выразитель — это тот, кто, говоря о группе, о месте группы, скрыто ставит вопрос о существовании группы, учреждает эту группу при помощи магической операции, свойственной любому акту номинации. Поэтому, если хотят ставить вопрос, с которого должна начинаться вся социология: вопрос о существовании и о способе существования коллективности, следует приступить к критике политических аргументов, которым присущи языковые злоупотребления, а на деле — злоупотребления властью.

Класс существует в той и лишь в той мере, в которой уполномоченное лицо, наделенное *plena potentia agendi* может быть и ощущать себя облеченным властью говорить от своего имени — в соответствии с уравнением: «Партия есть рабочий класс», а «Рабочий класс есть партия», или в случае юристов-канонистов, «Церковь есть Папа (или епископы)», а «Папа (или епископы) есть Церковь». Такое лицо может осуществить эту формулу как реальную силу в недрах политического поля. Способ существования того, что сейчас во многих обществах называют рабочим классом (естественно, с некоторыми вариациями) полностью парадоксален: речь идет о некоторым образом мысленном существовании, о существовании его в мыслях большей части тех, кого таксономия обозначает «рабочие», но также и в мысли тех, кто занимает в социальном пространстве позиции более удаленные от рабочих. Само это существование почти повсеместно признано покоящимся на существовании рабочего класса в представлении. Политический и профсоюзный аппарат и их освобожденные работники жизненно заинтересованы в вере в существование рабочего класса и в том, чтобы убедить в этом как тех, кто к нему непосредственно принадлежит, так и тех, кто ничего общего с ним не имеет, и способен заставить говорить «рабочий класс» в один голос, одним заклинанием, как заклинают духов, одним призыванием его, как призывают богов или святых и даже символически выставляя его напоказ через демонстрации — своего рода театральную постановку представления о классе в представлениях. В этой «постановке», с одной стороны, участвует корпус постоянных представителей со всей постановочной символикой его существования, с аббревиатурами, эмблемами, знаками отличия, а с другой стороны — часть наиболее убежденно верующих, которые — через само их существование — позволяют представителям дать представление об их представительности. Этот рабочий класс как «воля и представление» (как в названии известного труда Шопенгауэра) не имеет ничего общего с классом в действии, с реально мобилизованной группой, которую упоминает марксистская традиция. Однако, класс от этого не является менее реальным, но эта реальность магическая, которая (вслед за Дюркгеймом и Моссом) определяет институции в качестве социальных фантазий. Как настоящая мистическая корпорация,

созданная ценой огромного исторического труда, теоретических и практических изобретений, начатых самим Марксом и непрерывно воссоздаваемых ценой бесчисленных, постоянно возобновляющихся усилий и самопожертвований, которые необходимы для производства и воспроизводства веры и институций, ответственных за ее воспроизводство, рабочий класс существует в лице и посредством корпуса официальных его представителей, которые дают ему слово и наглядное присутствие. Он существует в вере в собственное существование, которую корпусу уполномоченных удастся внушить посредством одного лишь своего существования и собственных представлений, на основе сходства, объективно объединяющего членов одного «класса на бумаге» как возможную группу[13]. Исторический успех марксистской теории — первой из социальных теорий претендовавшей на научность, когда бы она реализовалась полностью в социальном мире, способствует, таким образом, тому, что теория социального мира, наименее способная интегрировать собственный теоретический результат, который она развивала более, чем любая другая, сегодня без сомнения представляет наиболее мощное препятствие на пути прогресса адекватной теории социального мира, прогресса, которому марксистская теория в свое время способствовала более, чем любая другая.

[i] Инкорпорированный — обретший носителя, тело; интегрированный в субстрат (о свойстве) — Прим перев.

[ii] ощущением своего положения (англ.).

[iii] Stand, мн. Stande — Сословие или звание (нем.)

[iv] демонстративное потребление (англ.).

[v] сделаться заметным (англ.).

[vi] быть воспринимаемым (лат.).

[vii] известный, прославленный (лат.).

[viii] восприятие (лат.).

[ix] частное мнение (греч.).

[x] авторитет (лат.).

[xi] Докса — совокупность выражений обыденного мнения, укоренившихся преданий и представлений, — того, что принимается на веру, без обсуждения и обдумывания, как само собой разумеющееся. Докса связана со здравым смыслом — Прим перев.

[xii] царя, правителя (лат.).

[xiii] буквально: правление границами, установление границ, разграничений и правление священным, установление священного; иными словами' светское и священное установление (лат.).

[xiv] изначальной интуиции (лат.).

[xv] подлинная печать (лат.).

[xvi] совершенное полномочие действовать и говорить (лат.).

[xvii] сначала бытие, затем — действие (лат.).

[xviii] таинство (лат.).

[xix] служение (лат.).

[xx] гражданское состояние есть государственная должность (лат.).

[xxi] собрание многих лип [в] корпорацию (лат )

[1] Можно подумать, будто мы уже порвали с субстанциализмом и ввели реляционистский способ мышления, когда изучают взаимодействия и реальные обмены (на самом деле, практическая солидарность, как и практическое соперничество, связанные с прямыми контактами и взаимодействием между агентами, т. е. практическим соседством, могут быть препятствием в выстраивании солидарности, основанной на соседстве в теоретическом пространстве).

[2] Статистический опрос не может уловить соотношения сил, иначе как в форме собственности как свойства (*propriétés* — фр.), иногда юридически гарантированного через документ, подтверждающий право владения (*titres de propriété économique* — фр.) — для экономической собственности; диплом и ученое звание (*titres scolaires* — фр.) — для культурной собственности; дворянский титул (*titres de noblesse* — фр.) — для социального капитала. Именно это объясняет связь между эмпирическими исследованиями классов и теорией социальной структуры как стратификации, описанной<sup>1</sup> в понятиях отдаленности от средств присвоения («дистанция от центра культурных ценностей», по Хальбваксу); этот язык использовал и Маркс, когда говорил о «массе, лишенной собственности».

[3] В некоторых социальных универсумах принципы деления по объему и структуре капитала, которые детерминируют структуру социального пространства, удваиваются по относительно независимому принципу деления экономических и культурных особенностей, как, например, этническая или религиозная принадлежность. Распределение агентов проявляется в этом случае как результат пересечения двух частично независимых пространств. Так, этническая группа, помещенная в нижней позиции пространства этнических групп, может занимать позиции во всех полях (даже наиболее высоких), но с низкой долей представительства тех, кто находится в верхней позиции этнического пространства. Каждая этническая группа может быть охарактеризована социальными позициями ее членов, процентом дисперсии этих позиций и наконец, степенью ее социальной интеграции вопреки дисперсии (этническая солидарность может утверждаться в форме коллективной мобильности).

[4] То же самое было бы желательно для отношений между географическим и социальным пространством: эти два пространства никогда полностью не совпадают, однако многие различия, которые связывают обычно с эффектом географического пространства, например, противопоставление центра и периферии, являются в действительности дистанцией в социальном пространстве, т. е. проистекают из неравенства в распределении различных видов капитала в географическом пространстве.

[5] Чувство реальности не включает в себя ни в коей мере сознания класса в психологическом смысле. Это чувство еще менее ирреально, чем можно приписать данному термину, оно есть эксплицитное представление о занимаемой в социальной структуре позиции, и о коллективных интересах, которые с ней коррелируют. Еще менее ирреальна теория социальных классов, понимаемая не только как система классификации, основанная на эксплицитных принципах и логически контролируемая, но и как точное знание механизмов, ответственных за распределение по классам. Действительно, достаточно рассмотреть экономические и социальные условия, позволяющие ту форму дистанцирования настоящего от практики, которую предполагают понимание и более или менее четко сформулированное представление о коллективном будущем, чтобы покончить с метафизикой осознания и классового сознания, с неким революционным *coûto* коллективного сознания от персонифицированной сущности. (Это то, о чем я упоминал при анализе отношений между осознанием времени и, в особенности, способностью к рациональному экономическому расчету, и политическим сознанием алжирских рабочих).

[6] В этом случае производство здравого смысла заключается, в основном, в бесконечных новых интерпретациях общего «кладезя» священных выражений (поговорки, пословицы, гномические поэмы и т. п.), с целью «дать наиболее чистый смысл словам рода (*la tribu* — фр.)». Усвоить слова, в которых представлено все то, что признано группой, значит заручиться значительным преимуществом в борьбе за власть. Это очень хорошо видно в борьбе за религиозное влияние: слово, имеющее наибольшую ценность, — священное слово, как отмечает Гершом Шолем. Именно поэтому, чтобы заставить признать себя, нужно возобновлять по традиции мистические споры, и перевоплощать религиозное слово в символы. Слова из политической лексики, являясь сутью борьбы, содержат полемику под

видом полисемии, которая представляет собой отпечаток антагонистического использования их различными группировками в прошлом и настоящем. Наиболее универсальная стратегия для профессионалов производства символической власти, поэтов в архаических обществах, пророков, политиков заключается, таким образом, в том, чтобы заставить здравый смысл работать на себя, присваивая себе слова, ценностно нагруженные для любой группы, поскольку они выражают ее веру.

[7] Это очень хорошо показал Лео Шпитцер на примере Дон Кихота, где один и тот же персонаж оказывается наделенным многими именами — феномен полиномии, т. е. множественность имен, прозвищ, кличек, которые принадлежат одному агенту или одной институции, является вместе с полисемией слов или выражений, обозначающих фундаментальные ценности группы, явным отпечатком борьбы за власть номинаций, которая осуществляется в недрах любого социального универсума. См. Spitzer L. *Perspectivism in Don Quijote*// *Linguistics and Literary History*. New York: Russel and Russel, 1948.

[8] Кафка Ф. Процесс // Кафка Ф. Америка. Процесс. Из дневников. М: Политиздат, 1991. С. 386.

[9] Словарь профессий есть законченная форма социального нейтралитета, которая стирает внутренние различия социального пространства, - в единой по форме трактовке любой позиции как профессии, ценой непрерывного изменения основания для их определения (звание, природа деятельности и т. п.). Когда в англосаксонских странах врачей называют профессионалами, они выхватывают тот факт, что эти агенты определены по их профессии, и это как бы их главный атрибут; напротив, например, прицепщики вагонов очень слабо определены по этому основанию, их описывают просто как занимающих определенный трудовой пост, а в отношении университетских профессоров определение построено одновременно, как для прицепщиков вагонов — по задачам и по деятельности, и как для врачей — через звание.

[10] Получение профессии, дающей звание, все более тесно связано с обладанием дипломом определенного типа — и здесь связь между типом диплома и вознаграждением за труд очень тесная; в отличие от того, что можно наблюдать в случае профессий, не имеющих звания, когда агенты, выполняющие ту же работу, могут иметь самые разные типы дипломов.

[11] Обладатели одного и того же звания стремятся конституироваться в одну социальную группу и обладать постоянной организацией — корпорация врачей, ассоциация бывших соучеников и т. д., задуманной, чтобы утвердить сплоченность группы (с помощью периодических собраний и т. п.) и осуществлять свои материальные и символические интересы.

[12] Наилучшую иллюстрацию к такому анализу можно найти, благодаря замечательным работам Роберта Дарнтона, в истории своего рода культурной революции, которую доминируемые в недрах становящегося интеллектуального поля — Бриссо, Мерсье, Демолен, Эбер, Марат и другие — совершили в лоне революционного движения (разрушение академий, распад салонов, запрет пансионов, уничтожение привилегий), находя свой принцип в статусе «культурного парии» и направляя свои усилия преимущественно против основополагающих символов власти, участвуя, средствами «политической порнографии» и нарочито непристойных пасквилей, в работе по «делегитимации», которая без сомнения является одним из фундаментальных измерений революционного радикализма. См.: Darnton R. *The High Enlightenment and the Low-Life of Literature in Pre-revolutionary France*// *Past and Present*. Vol. 51. 1971. P. 81-115; в переводе на фр.яз. см. в: *Boheme littfraire et revolution, Le monde des livres au XVIIIe siecle*. Paris: Gallimard, Seuil, 1983, P. 7-41; о Марате, о котором часто не знают, что он был также, или сначала, плохим физиком, см. Gillispie C. C. *Science and Polity in France at the End of the Old Regime*. Princeton University Press, 1980. P. 290-330.

[13] О сходном анализе связи по типу «представление и воля» между группой родственников «на бумаге» и «практической» группой родственников см. Bourdieu P. *Esquisse d'une théorie de la pratique*. Genève: Droz, 1972; *Le sens pratique*. Paris: Minuit, 1980.

Пьер Бурдьё  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ

Политическая наука достаточно давно зафиксировала факт, что значительная часть опрашиваемых воздерживается от ответов на вопросы о политике, и что эти «неответы» варьируют в значительной мере в зависимости от пола, возраста, уровня образования, профессии, места жительства и от политических тенденций, но из этого не делалось никакого вывода, и наука довольствовалась сожалениями по поводу таких досадных отказов. Достаточно заметить, что это «болото» образуется в большой мере из тех, кого принято называть «народ» или «массы», чтобы усомниться в роли, которую они выполняют в функционировании «либеральной демократии», и в участии, которое они принимают в поддержании установленного порядка. Уклонение от» ответа является, быть может, не столько упущением системы, сколько одним из условий ее функционирования как незамеченной, и следовательно, признанной, цензовой системы.

Следует усомниться и в самом понятии «личное мнение»: так, в опросах общественного мнения, где суммируются все опрошенные без различия, намерение высказывать «личное мнение» прослеживается в анкетах через все эти «по Вашему мнению...», «как Вы думаете...», «по вашему...», или когда выбирают самостоятельно, без посторонней помощи одно из нескольких готовых мнений. Опросы общественного мнения скрыто принимают политическую философию, которая из политического выбора делает собственно политическое суждение, применяя политические принципы, чтобы ответить на проблему, воспринимаемую как политическая, т. е., философию, признающую за всеми не просто право, но власть высказывать такое суждение. Социальная история понятия «личное мнение» могла бы, конечно, показать, что это изобретение XVIII века берет свое начало в рационалистической вере, согласно которой способность «судить верно», как говорил Декарт, т. е. отличать внутренним, спонтанным и непосредственным чувством хорошее от плохого, правду от лжи, есть универсально применимая всеобщая способность (как и способность эстетического суждения у Канта), — даже если мы согласимся с тем, что всеобщее образование, особенно начиная с XIX века, необходимо для полного развития этой способности и обоснования действительно универсальной способности суждения — всеобщего избирательного права. Идея «личного мнения» может быть отчасти обязана своей очевидностью тому, что сформулирована в противовес притязанию Церкви на монополию производства легитимных суждений, средств производства суждений и производителей суждений. Идея «личного мнения» неотделима от идеи толерантности, — оспаривания любого авторитета во имя убеждения в том, что ценятся все мнения вне зависимости от того, кто их произвел. Эта идея выражает с самого начала интересы интеллектуалов, независимых мелких производителей мнения, чья роль растет параллельно со становлением поля специализированного производства и рынка продуктов культуры, и далее, со становлением субполя, специализированного на производстве политических мнений (пресса, партии и все представительные инстанции).

Ответ на вопрос в анкете о политике так же, как и участие в голосовании, или (на другом уровне участия) чтение в газетах об опросах общественного мнения или вступление в партию — это частный случай встречи спроса и предложения. С одной стороны, поле идеологического производства — относительно автономный мир, где вырабатываются в конкуренции и конфликте инструменты осмысливания социального мира, объективно имеющиеся в наличии в данный момент времени, и где, в то же время определяется поле политически мыслимого, если угодно, легитимная проблематика[1]. С другой стороны, — социальные агенты, занимающие различные позиции в поле классовых отношений, и определяемые по более или менее значительной специфической политической компетенции, т. е. по более или менее выраженной способности признавать политические вопросы именно как политические и трактовать их как таковые, давая на них политический ответ и исходя из чисто политических принципов (а не из этических, например); способности, которая неотделима от более или менее глубокого ощущения быть компетентным[i] в полном смысле этого слова, а значит — социально признанным в качестве правомочного заниматься политическими делами, давать свое мнение по этим вопросам или даже менять их курс. В действительности можно предположить, что компетенция в смысле технической квалификации (политической культуры) меняется на компетенцию в смысле квалификации социально признанной, как полагающиеся атрибут и атрибуция, универсальность которых есть одновременно их немощность, объективное («это не мое дело») и

субъективное («это меня не интересует») устранение[2].

Несомненно, не существует более радикальной постановки проблемы политики, чем та, в которой Маркс и Энгельс ставят вопрос о способности к художественному производству, помещая его в разряд политических. Анализируя концентрацию способности к художественному производству в руках нескольких индивидов и соответствующее (или даже вытекающее из этого факта) обделение масс, Маркс и Энгельс изображают общество (коммунистическое), где «не существует живописцев, существуют лишь люди, которые занимаются и живописью как одним из видов своей деятельности»[3] и где, благодаря развитию производительных сил, общее уменьшение рабочего дня (соотносящееся с общим сокращением и с равномерным распределением рабочего времени) позволяет получить «вполне достаточно свободного времени, чтобы принимать участие в общих делах общества, как теоретических, так и практических»[4]. Нет политиков, но все больше появляется людей, которые, между прочим, занимаются и политикой. Утопия в этой области, как и в других, находит свое научное (и, конечно, политическое) оправдание в совершаемом ею подрыве очевидных истин, который вынуждает прояснить допущенное ранее из общих соображений.

В действительности, популистская снисходительность, несмотря на свое благородное обличье, которое ставит ее в положение, диаметрально противоположное элитистским изобличениям всеобщего избирательного права (чем интеллектуалы и художники в другое время охотно поступаются), приписывая народу врожденное знание политики, тем самым не менее способствует закреплению концентрации в нескольких индивидах» способности производить речи о социальном мире и, через это, способности, сознательного воздействия на этот мир, скрывая эту концентрацию вместо того, чтобы открыто говорить о ней или изобличать ее. Утопический парадокс разбивает доксу: изображая социальный мир, где «в каждом человеке спит Рафаэль», который мог бы осуществиться в живописи или в политике, этот парадокс заставляет обнаружить, что концентрация средств (инкорпорированных или объективированных) присутствует в политике едва ли в меньшей степени, чем в искусстве, и не дает забыть о всех спящих Рафаэлях лучше, чем все «идеологические аппараты государства» — механизмы, ответственные за эту монополию.

Идеализированному народу лишь приписывалось знание любой практики, кроме практики социального мира как такового, по меньшей мере кроме знания его позиции и его интересов в этом мире. Следовало бы рассмотреть, может ли и каким образом политическое чувство выражаться в речах, похожих на правду, которую оно на практике скрывает в себе, и может ли, таким образом, политическое чувство становиться основанием для сознательного действия[5] и, через власть мобилизации, заключенную в эксплицитном толковании, для действительно коллективного действия. Или же, чтобы быть ближе к правде, существует ли на самом деле этот сорт верного чутья, каким его иногда представляют, позволяющий, по крайней мере, обнаружить продукты, наиболее приспособленные к рынку речей, произведенных и предлагаемых держателями средств производства легитимных проблем и мнений[6].

## Ценз и цензура

Серьезное рассмотрение «неответов» и их вариаций, т. е. наиболее важной информации, получаемой в опросах общественного мнения, заставляет заметить, что вероятность иметь то или иное мнение, которая связана с определенной социальной категорией (и передается через частоту, с которой члены этой категории выбирают ту или иную предлагаемую позицию в анкете), является всего лишь условной вероятностью, т. е. вероятностью, с которой событие происходит при условии, что произойдет другое событие, в частном случае, выражение мнения, а не получится чистое и полное отсутствие ответа. Адекватно интерпретировать, дойти до объяснения полученных в опросе мнений, можно лишь при условии, если держишь в голове, что эти мнения зависят в своем существовании и значении от вероятности (абсолютной) выразить мнение, которая варьирует (в не менее значительной мере, чем условная вероятность выразить то или иное частное мнение) в зависимости от особенностей респондентов, а также от особенностей вопроса или, точнее, в зависимости от связи между особенностями вопроса и особенностями респондентов. Эта связь, более сильная для мужчин, тем для женщин, будет тем больше, чем респондент моложе, чем в более населенном городе он проживает в особенности, если проживает в Париже), чем выше то образовательный капитал (измеряемый типом имеющегося диплома), чем значительнее размеры его экономического капитала (измеряемого доходом) и чем более высока его социальная позиция. Колебания, связанные с этими



переменными, тем значительней, чем более далеки поставленные в опросе проблемы от жизненного опыта респондента, чем более они абстрактны и оторваны от повседневной реальности по своему содержанию и выражению (а также — но это уже второстепенно — чем «свежее» их появление на поле идеологического производства) и чем с большей настойчивостью они вызывают в ответу, порожденному чисто политическими принципами, что замечается по синтаксису и самой лексике поставленного вопроса.

Все происходит так, как если бы наиболее «легитимные» агенты, иначе говоря, наиболее компетентные в двойном смысле этого слова, были бы и чувствовали себя тем более легитимными, т. е. одновременно подчиненными общественному мнению и апеллирующими к нему, чем более «легитимными» являются поставленные проблемы. Заметим также, что те, кто не может ответить на вопрос о своей политической принадлежности или приверженности (через указание на наиболее близкую им партию), в наибольшей степени склонны оставлять без ответа и другие вопросы; это тем заметнее, чем более очевидно поставленный вопрос находится в сфере профессиональной политики. Так, в опросе, проведенном SOFRES<sup>[ii]</sup> когда респондентам задавался вопрос «Должна ли Франция помогать «бедным» странам?», частота ответов у респондентов, квалифицированных как «умеренные», была не намного меньше (81%), чем у респондентов, назвавших себя близкими к крайне-левым (91%), левым (90%), центристам (86%), правым (93%) или крайне-правым (92%). И напротив, когда у них спрашивали о том, должна ли Франция интересоваться странами, имеющими демократический режим, умеренные отвечали заметно реже (51%), чем те, кто причислил себя к крайне-левым (76%), к левым (67%), к центристам (75%), к правым (70%) или к крайне-правым (74%) [7].

Как бы то ни было, можно представить себе достаточно четко собственный эффект связи между компетенцией респондента (в двойном смысле), предметом и формой вопроса, рассматривая расхождения между процентом не ответивших, например, среди мужчин и среди женщин, в одном и том же опросе<sup>[iii]</sup> и по одной и той же анкете, когда кроме пола все остальные параметры одинаковы. Прежде всего констатируем, что женщины отвечают почти с той же частотой на вопросы «Делает ли Франция достаточные или недостаточные усилия, чтобы дать иностранным рабочим возможность найти жилье?» (85% для тех и других); «...чтобы дать им образование?» (70% против 75%), «...чтобы принять их гостеприимно?» (80% против 83%), «...чтобы дать им подходящую зарплату?» (77% против 83%), которые читателю представляются скорее этическими, и в которых, в соответствии с традиционной моралью, женщины более компетентны. Те же женщины, будучи поставлены перед проблемами более выраженного политического характера, склонны отвечать значительно меньше: среди них лишь 75% (против 92% среди мужчин) ответили на вопрос о «продолжении политики сотрудничества с Алжиром», когда проблема — и сам вопрос говорит об этом — касается чистой политики, иностранных дел, и когда она более далека от конкретного опыта, чем внутренняя политика, в особенности, когда вопрос ставится, как в этом случае, вне всяких этических оценок («По поводу франко-алжирских отношений, считаете ли Вы желательным, чтобы Франция продолжала политику сотрудничества с Алжиром?»)

На самом деле, достаточно перенести абстрактную проблему сотрудничества в плоскость этических проблем, точнее благотворительности, которую традиционное разделение труда между полами предоставило женщинам — «специалистам» по сердечности и чувствительности (допустим, «Должна ли, по Вашему мнению, Франция особо интересоваться среди стран «третьего мира» теми, которые наиболее бедны?»), чтобы женщины отвечали на вопрос в той же пропорции, что и мужчины, т. е. в 88% случаев. Но стоит ввести этот вопрос в более специфически политическую или политологическую форму, используя абстрактный лексикон, напоминающий различным группам о различной реальности, например, спрашивая, должна ли Франция интересоваться «странами с демократическим режимом», и доля ответивших женщин снова очень сильно сокращается, падая до 59% против 74% ответивших мужчин.

В общем виде, чем более вопрос направлен на проблематику; затрагивающую повседневное существование или частную жизнь, или имеющую отношение к домашней морали, например, все то, что касается жилища, пропитания, воспитания детей, сексуальности и т. п., тем более сокращается и иногда стирается разрыв, отделяющий мужчин от женщин и менее образованных от более образованных.

Таким образом, вероятность получить ответ определяется каждый раз в зависимости от вопроса (в

более общем виде, — от ситуации) и от агента (от класса агентов), определенного по полагающейся ему компетентности — квалификации, которая сама зависит от шансов получить эту квалификацию. Интерес или безразличие к политике можно было бы понять лучше, если бы мы умели видеть, что тяга к использованию политической «власти» (власти избирать, рассуждать о политике, заниматься политикой) находится в зависимости от реальности получения этой власти, а безразличие к ней, если угодно, есть лишь демонстрация бессилия[8].

#### Личное мнение

Ницше в некоторых работах высмеивает ученический культ «башни из слоновой кости», а было бы нелишне даже просто полностью описать ансамбль институциональных и, в особенности, интеллектуальных и образовательных механизмов, которые способствуют поддержанию культа и культуры «личности», этого ансамбля личностных особенностей, исключительности, уникальности, оригинальности, как «личных представлений», как «личного стиля» и, сверх того, любого «личного мнения». Так, можно было показать, что противопоставления между редким, изысканным, избранным, уникальным, исключительным, непохожим, незаменимым, несравнимым, оригинальным и общим, вульгарным, банальным, перенятым, обыкновенным, средним, обычным, тривиальным, со всеми примыкающими сюда противопоставлениями, между звездами и терниями, утонченностью и грубостью, рафинированностью и резкостью, благородством и низостью, — все эти противопоставления являются одним из основополагающих измерений моральной и эстетической лексики буржуазии (другие организуются вокруг противопоставления достатка и бедности). Все, кто намерен разобраться в том вкладе, который система образования может внести во внушение определенного видения социального мира, ищут либо со стороны наиболее прямого и наглядного идеологического вмешательства, также как и исследования, рассматривающие содержание учебников истории, либо со стороны элитистской философии истории, которую дают в курсе преподавания этой дисциплины, как в немецкие исследования об основополагающих элементах, составляющих образ истории (Geschichtsbild), но и те, и другие, несомненно, пропускают главное[9]. Действительно, образовательные институции в своей совокупности, начиная от организации строго индивидуальной работы, которую они предполагают, и до классификационных схем, которые они разворачивают в своих операциях по классификации, всегда отдают преимущество оригинальному в ущерб распространенному и стремятся через содержание преподаваемого материала и через манеру его подачи усилить склонности к индивидуализму или к нарциссизму, вводимые в систему детьми мелкой и крупной буржуазии. Литература, где, как говорил А. Жид в своей «Газете», — «не ценится ничего кроме личного», и как в литературном поле, так и в системе преподавания приветствуется склонность к индивидуализму, естественно служит центром этого культа «Я», в формировании которого играет свою роль и философия, часто редуцированная к высокомерному утверждению своего отличия от мыслителя. Все это позволяет предсказать, что психоанализ будет входить в модернистский вариант этого культа, поскольку он, хотя и описывает родовые механизмы, но разрешает и поощряет погружение в единственность врожденного опыта (в противовес социологии, которая не вызывала бы такого сопротивления, если бы не сводила все к родовому, к общему).

Чтобы полностью сделать понятным притязание мелких буржуа на обладание «личным мнением», следовало бы принять во внимание не только подкрепление, получаемое от системы образования или от средств массовой коммуникации, но также и специфические характеристики производства габитуса, где это притязание будет одним из измерений. Действительно, мы видим, что -соревнование за право иметь «личное мнение» и недоверие по отношению к любой форме делегирования, особенно в политике, логически вписывается в систему собственных диспозиций индивидов, все прошлое и все проекты будущего которых представляют своего рода ставку в борьбе за собственное благо, базирующееся на личных «способностях» или «заслугах», на разрыве с гнетущим единомыслием и даже на отречении от стесняющих обязанностей, на выборе постоянно предпочитать как дома, так и на работе, как в удовольствиях, так и в мыслях, частное, личное («у-себя-домное») вместо общественного, коллективного., общего, ничем не отличающегося от других, заимствованного[10].

Но наивно «эгоистические» диспозиции мелких буржуа не имеют ничего общего с тонким эгоизмом тех, кто может утвердить единичность своей личности всей своей практикой и, прежде всего через свою профессию — свободную деятельность, свободно выбранную и свободно осуществляемую, где утверждается как единственная добродетель собственная «личность», несводимая к анонимной, обезличенной, свободно заменяемой роли, идентифицироваться с которой еще должны мелкие

буржуа («регламент есть регламент»), чтобы существовать, или, во всяком случае, чтобы заявить о своем социальном существовании, в частности, через их конфликт с крупными буржуа[11]. Недоверчивая осмотрительность, сдерживающая делегирование или вступление в партию мелкого буржуа, не имеет ничего общего с уверенностью крупного буржуа быть наилучшим, не имеющим себе равных, официальным выразителем мыслей и общественного мнения.

В факте, что руководящие кадры наиболее многочисленны среди тех, кто в сфере политической информации наиболее доверяет ежедневным газетам (27% — руководящие кадры, 24% — кадры среднего управленческого звена и служащие, тогда как среди занятых сельским хозяйством их 14%, среди рабочих — 11%, среди ремесленников и мелких коммерсантов — 5%) или еженедельникам (19% руководителей высшего звена против 7% руководителей среднего звена и служащих, 6% ремесленников и мелких коммерсантов и 4% занятых в сельском хозяйстве)[iv], можно видеть проявление усилий (которые возрастают вместе с ростом образования), направленных на то, чтобы составить свое мнение, как говорится, прибегая к средствам наиболее специфическим и наиболее легитимным, а именно, к газете, высказывающей мнение, которую можно выбирать в зависимости от собственной точки зрения, в противовес телевидению или радио — «средствам массовой коммуникации», подающим результаты «омнибусов».

Можно попытаться представить такую же структуру оппозиции в том, что высшие руководящие кадры, добиваясь выполнения своих требований, апеллируют с особой частотой к хлопотам перед общественными инстанциями, тогда как рабочие и служащие чаще, чем все остальные категории, рассчитывают на забастовку, а ремесленники, мелкие коммерсанты и кадры среднего управленческого звена прибегают к манифестациям, разовому объединению, которого не существовало ранее и которое не выживет в дальнейшем.

Но достаточно даже кратко напомнить социальные условия становления требования «личного мнения» и осуществления этого притязания, чтобы показать: в противоположность наивной вере в формальное равенство перед политикой, «народное» представление является более реалистичным, когда оно не видит другого выбора для наиболее обделенных слоев, как чистая и простая сдача позиций, покорное признание отсутствия у них необходимой компетентности или полное делегирование, самоотречение без остатка, что великолепно очерчивается теологическим понятием *fides implicita*[v] — негласное доверие, молчаливая самоотдача, когда выбирают свое мнение через выбор своего официального выразителя.

### Способы производства мнения

На самом деле не все ответы — это мнения, и вероятность того, что ответы какой-то определенной группы будут лишь замаскированными «неответами», лишь вежливыми уступками предложенной проблематике или просто этическими высказываниями, наивно принятыми за «личное мнение», несомненно, варьирует так же, как и ожидаемая вероятность отсутствия ответа. Влечение и склонность обращать свои интересы и опыт на политические выступления, исследовать связь мнений и интегрировать совокупность точек зрения вокруг эксплицитных и ясно выраженных политических принципов в действительности очень сильно зависят, во-первых, от образовательного капитала и, во-вторых, от структуры общего капитала, возрастающего вместе с ростом веса культурного капитала относительно экономического капитала[12].

Недостаточно признать неравенство полагающейся компетенции, которая заставляет вспомнить о социальных условиях для самой возможности давать политические оценки. Здесь полностью маскируется наиболее фундаментальная политическая проблема, так сказать, вопрос о способах производства ответа на политический-вопрос, допускающая интеллектуалистский постулат, что всякий ответ на политический вопрос есть продукт собственно политического акта суждения[13]. Действительно, ответ на вопрос, который применение господствующего определения политики классифицирует как политический (например, вопрос о студенческих манифестациях или об абортах), может быть получен тремя очень различающимися способами. В основе производства ответа может лежать, во-первых, этос класса[vi] — порождающая формула, как таковая незафиксированная, но позволяющая по всем проблемам обыденного существования давать ответы, объективно связанные между собой и совместимые с практическим постулатом о практическом отношении к действительности; во-вторых, это может быть регулярная политическая «партия» (в том смысле, в

котором говорят о балетной или оперной партии), так сказать, система эксплицитных, специфически политических принципов, поддающихся логическому контролю и рефлексивному постижению, короче, тот сорт политической аксиоматики (в обыденном языке — «линия» или «программа»), которая позволяет порождать и предвидеть множество таких и только таких суждений и политических действий, которые входят в алгоритм; наконец, в-третьих, это может быть продукт выбора на двух уровнях, т. е. ориентировка, совершающаяся подвидом знания, где ответы приспособлены к «линии», намеченной политической партией (здесь: «партия» в смысле организации, задающей «политическую линию» по совокупности проблем, чьему становлению в качестве политической партия способствует). Присоединение, заключающееся в этом негласном или, напротив, в явном делегировании, может само иметь своим основанием (и мы это еще увидим) либо практическое признание, осуществляемое этосом, либо эксплицитный выбор в зависимости от «партии»[14].

Преднамеренная связность практики и выступлений, порожденных, исходя из эксплицитных и определено политических принципов, повсеместно сталкивается с объективной систематичностью практики, произведенной, исходя из имплицитных принципов, и, следовательно, по другую сторону от «политических» выступлений, т. е., исходя из объективно систематических схем мышления и действия, полученных в результате простого привыкания, вне всякого точного расчета, и осуществляемых в дорефлексивной форме. Эти две формы политической диспозиции класса, не будучи механически привязанными, к ситуации, в которой находится класс, тесно взаимосвязаны через посредство, главным образом, материальных условий существования, жизненная насущность которых навязывается с неравной и, следовательно, с не равно легко символически «нейтрализуемой» беспощадной силой, а также через посредство системы образования, способной снабдить инструментами символического освоения практики — вербализации и концептуализации политического опыта. Популистское пристрастие давать народным массам «политику» (как, впрочем, и «эстетику») непреднамеренно, как наделенную от природы свойствами, вытекающими из господствующего определения политики, не учитывает, что практическое освоение, выражающееся в ежедневном выборе (который может быть или не быть квалифицирован как политический по отношению к господствующему определению политики), находит свое обоснование не в эксплицитных принципах постоянно бдительного и универсально компетентного сознания, а в имплицитных схемах мышления и действия габитуса класса. Иными словами, если воспользоваться упрощающими и незатейливыми формулами политической дискуссии, скорее, в бессознательном класса, чем в его сознании.

Действительно, два последних способа производства мнения отличаются от первого тем, что чисто политические принципы производства политического суждения здесь направлены на эксплицитный уровень, конституированный как таковой либо институцией, которой передают полномочия производить и управлять этими принципами, либо отдельным политическим агентом, который, обладая собственными средствами производства политических вопросов и ответов, может давать систематические и систематически политические ответы по проблемам возможно столь же различным, как, например, борьба работников LIP[vii], сексуальное воспитание и загрязнение окружающей среды, В этих двух случаях связь между социальным классом и общественным мнением не устанавливается более непосредственно, т. е. через посредство одного лишь классового бессознательного, но чтобы правильно понять политические мнения и чтобы придать им дополнительные доводы, нужно ввести еще одну чисто политическую инстанцию: либо политическую «линию» или «программу» политической партии, инвестированную, таким образом, de facto, в монополию производства принципов производства политических мнений, либо политическую аксиоматику, которая позволяет производить чисто политические точки зрения на все проблемы, были ли они или нет поставлены как политические[15]. Тем не менее, для решения проблем, которые не составляют в «партию» или партией, агенты отсылаются к этосу (в котором выражаются особые социальные условия производства, продуктом чего и является этос). Например, к этосу рядовых агентов, но также и профессиональных производителей, интеллектуалов, социологов, журналистов или политиков: в производстве речей (научных или иных) о социальном мире, как и в определении линии политического воздействия на этот мир, именно этос класса отвечает за компенсацию аксиоматической и методической недостаточности (или за восполнение недостаточного овладения средствами мышления и действия). «Увриеризм» [рабочий характер] революционных партий, несомненно, находит свои корни в этом интуитивном чувстве двойственности принципов производства политических мнений и действий, а также в некотором хорошо обоснованном скептицизме, касающемся возможности отвечать на все вопросы и все практические вызовы простого существования, исходя из одних лишь принципов политической аксиоматики. Существует ли что-нибудь более противоположное, чем

сознательная и псевдовынужденная систематичность политической «партии» и систематичность  $\frac{3}{4}$  «в-себе» практик и суждений, сформированных, исходя из бессознательных принципов этоса; или же чем сознание минимальное, но в то же время фундаментальное, которое необходимо, чтобы делегировать партии производство принципов производства политических мнений, и сознание систематическое, которое дает возможность формулировать любую ситуацию как политическую и приводить ее к политическому решению, вытекающему из чисто политических принципов. Если политическое сознание без диспозиций — это нечто нереальное и недостоверное, то диспозиции без сознания — всегда непроницаемы сами для себя и через это всегда чувствительны к извращениям, совершающимся в пользу ложных признаний.

Именно эту оппозицию между первым и вторым принципами, так сказать, между производством от первого лица и производством по доверенности, приводят всегда защитники установленного порядка, например, в ситуации забастовки. Они противопоставляют логику «демократического» голосования или опроса общественного мнения «централистской» логике выражения мнения через профсоюз, чтобы постараться таким образом разорвать органическую связь делегирования и вынудить индивида обратиться к его собственным силам, отправляя его к кабине для тайного голосования, изолируя его. Опрос общественного мнения — тоже не что иное как установление способа производства мнений, который может заставить наиболее обделенных высказывать мнения, противоположные тем, которые им представляют (в двойном смысле) их официальные представители, ставя, таким образом, под сомнение обоснованность договора о представительстве [16]. А также именно на эту оппозицию между двумя способами производства мнения ссылаются, когда сопоставляют две концепции отношений между партией и массами со ссылкой на политических сторонников, более или менее приверженных одному или другому способу: массовая партия, с одной стороны, а с другой — небольшие партии или группы «авангарда», где некая квазисовокупность активистов дает политике возможность существовать под видом «партий». Можно противопоставить две концепции отношений между партией и массами: концепция, по которой, чаще всего «во имя реализма», требуется высокая степень делегирования в пользу центрального управления, и концепция, призывающая к самоуправлению политическим мнением через бессознательную универсализацию отношения к политике, свойственной мелким собственникам средств производства политических мнений, у которых нет никаких оснований делегировать другим свою власть высказывать мнение за них. Существующий обычно образ отношений между аппаратом партии и ее сторонниками, в частности, идеология неполного представительства, согласно которой «политическая элита не отвечает насущным социальным нуждам» или «сама создает политический запрос, который помогает ей оставаться у власти», не принимает в расчет совершенно разные формы, которые это отношение может скрывать в зависимости от партий и от категорий сторонников внутри одной партии.

Эти вариации отношений между уполномоченными лицами и их доверителями зависят, помимо прочего, от способов подбора, образования и продвижения ответственных политических деятелей (например, с одной стороны, Коммунистическая партия, которая должна формировать политических деятелей в некотором смысле *ex nihilo* [viii] с помощью всеобщего образования, почти повсеместно взятого на себя партией, а с другой стороны — партии консерваторов, которые могут довольствоваться объединением в своих рядах нотаблей, уже имеющих общее образование и занимающих к тому же установленные позиции). Они варьируют также в зависимости от основных социальных характеристик (и, в особенности, от уровня общей подготовки и образа политического мышления, внедряемого ей) и от способов подготовки политических выступлений или, что сводится к тому же, от способов организации групп, где эти выступления подготавливаются и распространяются [17].

Анализ опросов общественного мнения позволяет привести некоторые уточнения по второму пункту. Так, например, принцип, по которому избиратели от Коммунистической партии высказывают свои мнения, изменяется в зависимости от того, знают ли они предмет практически или теоретически, из своего опыта либо из политической учебы, как «то, что следует думать» (например, все, что касается борьбы в поле производственных отношений) или, наоборот, как то, что подсказывает им диспозиции их этоса; таким образом, они обрекают себя быть хранителями прошлого состояния буржуазной морали. Это похоже на детскую игру: нужно указать у активистов или у лидеров противоречия или расхождения в реакциях, вызванных соответственно двум принципам, и, особенно, расхождения между революционными диспозициями, демонстрируемыми ими в плане политики, и консервативными диспозициями, которым они изменяют в плане «этическом», и которые в принципе могут исходить в некоторых ситуациях из действительно консервативной политической практики. Напротив, избиратели

от Объединенной социалистической партии (PSU), значительная доля которых состоит из людей «интеллектуальных» профессий, демонстрируют в высокой степени взаимосвязь своих диспозиций со способностями представлять все политически (по аналогии со сходной установкой эстета, способного все представлять эстетически) и давать систему эксплицитно связанных реакций, которые более четко интегрируются вокруг эксплицитно формулирующихся политических принципов, чем в примере с Коммунистической партией. Избиратели Объединенной социалистической партии отличаются от всех других по степени, в которой они показывают себя способными утверждать принципы собственно политического производства вплоть до той сферы, где другие более склонны «скатываться» к принципам этоса.

Все политические суждения, включая те, которые представляются наиболее ясными, приводят, отчасти неизбежно, к *fides implicita*, понимаемой в соответствии с логикой политического выбора как выбор официального выразителя и уполномоченного, как выбор идей, мнений, проектов, программ-, планов, воплощенных в «личности» и зависящих в их реальном и вероятном существовании от реального и вероятного существования этих «личностей». Неопределенность в самом объекте суждения: человеке или идеях, вписана в саму логику политики, которая при каком бы то ни было режиме действует так, что заботы о формулировке проблем или политических решений и их осуществлению обязательно доверяются людям. При этом доверенные лица могут всегда быть выбраны либо по их программе (объективированной), в смысле каталога уже сформулированных суждений и уже заявленных и ставших публичными предпринимаемых мероприятий (по логике присяги), либо по их «личностным характеристикам», то есть по их габитусу как инкорпорированной программе (здесь: программа в том значении, в каком о ней говорят в информатике), как принципу, порождающему совокупность суждений и действий («политические мероприятия»), которые не «сформулированы эксплицитно в момент «выбора» ни кандидатом, ни избирателем, и которые, следовательно, должны предугадываться по едва заметным признакам диспозиций, дающимся через физический экзис[ix], дикцию, манеру держаться, манеры поведения. Не бывает такого политического выбора, который бы не учитывал неотрывно личность гаранта и то, что он гарантирует. Уполномоченный является одновременно тем, кто выражает мнения, уже выраженные его доверителями (он, как это принято говорить, «ограничен» программой, определенного рода контрактом эксплицитного делегирования) и тем, кто действует в соответствии со своей инкорпорированной программой более, чем в соответствии с объективированной программой — или в соответствии со специфическими интересами, связанными с его позицией в поле идеологического производства, выражает пока еще не сформулированные, имплицитные и потенциальные мнения, которые благодаря этому и возникают. Доверитель может даже использовать монополию говорить, которую ему дает статус признанного официального выразителя, чтобы при помощи не поддающейся проверке узурпации приписать своим доверителям ожидания, намерения, требования, в которых они не разбираются и которые могут в отдельных случаях принадлежать, авангарду или арьергарду группы в целом. Короче говоря, факт, что уполномоченное лицо, будучи гарантом программы не только как *opus operatum*[x], взятом как совокупность уже формулированных предложений, но и как *modus perandi*[xi], взятом как совокупность принципов, порождающих предложения пока не сформулированные («линия»), есть, без сомнения, то, что по формуле Дюркгейма, никогда не является пунктом контракта по политическому делегированию.

Вынужденные предъявить в один прекрасный день в виде объективированной программы свои еретические намерения, идущие вразрез с доксой, т. е. простым согласием с обычным порядком, которое идет само по себе, без обсуждения, сторонники изменения связываются из-за этого более всего подверженными противоречию между программой, которую провозглашает официальный выразитель, и имплицитной программой, которую выдает их габитус. Принимая во внимание скрытые условия доступа к политической компетенции (и, в частности, подготовку), это противоречие тем больше, чем в большей степени держатели монополии на производство или даже на воспроизводство эксплицитных программ сами являются продуктом социальных условий производства (проявляющихся в видимых признаках их габитуса), у которых есть все шансы быть отличными от тех условий, в которых были «произведены» их доверители. Напротив, те, кто не имеет других намерений, кроме намерения продолжать поддерживать установленный порядок, могут экономить на разъяснительной работе и ограничиваться представлением в собственной персоне своей изысканности, элегантности, культуры, а также своих свойств и прав (дворянский титул, диплом об образовании и т. п.), являющихся гарантией инкорпорированной программы сохранения порядка. Они обладают непреднамеренно, естественно, физическим экзисом, дикцией, произношением слов, и согласованность между речью и личностью, которая ее произносит, непосредственная, безукоризненная и естественная.

## Габитус класса и политическое мнение

Напрасно было бы искать объяснительный принцип ответов в этой, как и в любой другой области, в одном факторе или совокупности, полученной простым сложением нескольких факторов. В действительности габитус интегрирует в изначально синтетическую целостность порождающего принципа совокупность результатов действия детерминаций, навязанных материальными условиями существования (эффективность которых все более подчиняется результату воздействия образования и информации, предварительно, по мере ее появления, подвергнутой испытанию временем). Габитус есть инкорпорированный класс (включая и биологические, но социально препарированные свойства, например, пол и возраст) и при любых внутри- или межпоколенных перемещениях он отличается (по своим эффектам) от класса объективированного в определенный момент времени (в виде званий, свойств и т. п.) по тому, как воспроизводит различные состояния материальных условий существования, продуктом которых является и которые могут в большей или меньшей степени отличаться от актуально имеющихся условий существования. Детерминации, оказывающие на агентов свое действие на протяжении всего их существования, образуют систему, внутри которой главный вес приходится на такие факторы, как имеющийся капитал, определенный по общему его объему и структуре, а также соответствующая позиция в отношениях производства (определенная через профессию со всеми сопутствующими детерминациями, как влияние условий труда, профессиональное окружение и т. п.).

Это означает, как мы уже видели, что собственная эффективность фактора, взятого изолированно, никогда на самом деле не измеряется по корреляции между этим фактором и рассматриваемым мнением или практикой. Тот же фактор можно увязать с различными результатами, иногда даже противоположными, в зависимости от того, в какую систему факторов его включают. Так, диплом бакалавра может стать основой протеста, когда его обладателем является сын кадрового работника среднего звена или сын квалифицированного рабочего, попавшего в ранг рабочих-специалистов. Несомненно, что постоянный рост числа бакалавров среди рабочих-специалистов не случаен для распространения гошизма в рядах рабочих. Тот же диплом может стать основой интеграции, когда его имеет работник среднего звена, являющийся сыном рабочего или крестьянина. То же самое можно сказать о ценности полученного диплома об образовании и соответствующего ему отношения к социальному миру, которое ощутимо меняется в зависимости от возраста обладателя диплома (в той мере, в какой для разных поколений отличаются возможности получения этого диплома), от его социального происхождения (в той мере, в какой унаследованный социальный капитал, имя, семейные связи и т. п. определяют реальную прибыль, которую можно от этого получить) и, без сомнения, от географического происхождения (опосредованного такими инкорпорированными свойствами, как акцент, но также и характеристиками рынка труда) и от половой принадлежности.

Понятно, что через посредство габитуса, который определяет отношение к занимаемой в настоящее время позиции и, тем самым, выработку практической или эксплицитной позиции по отношению к социальному миру, распределение политических точек зрения между правыми и левыми достаточно тесно связано с распределением классов и внутриклассовых слоев в пространстве, определяемом в первом измерении по общему объему капитала и во втором — по структуре этого капитала. Склонность голосовать за правых возрастает по мере роста общего объема имеющегося капитала, а также по мере роста относительного веса экономического капитала в структуре капитала, а склонность голосовать за левых возрастает в обоих случаях при обратной тенденции. Гомология между противоположными позициями, которые устанавливаются при этих двух отношениях, где основная оппозиция между доминирующими и доминируемыми, а вторая — между слоями доминирующих и доминируемых внутри господствующего класса, стремится способствовать встречам и союзам между занимающими однородные позиции в различных пространствах. Наиболее зримо это парадоксальное совпадение устанавливается между слоем доминируемых внутри доминирующего класса (интеллектуалы, артисты, преподаватели) и доминируемыми классами, которые хотя и выразили свое отношение (объективно сильно различающееся) к доминирующим (в целом) в своей особой склонности голосовать за левых.

Если на основе распределения электоральных намерений по социально-профессиональным категориям, установленным Мишля и Симоном [18], охарактеризовать каждый слой класса по алгебраическому расхождению между процентами желающих голосовать за левых и желающими

голосовать за центр или голлистами (не принимая в расчет долю не ответивших, которая изменяется достаточно незначительно), то можно увидеть, что все происходит так, как будто результаты действия объема и структуры капитала аккумулируются, так что политическое пространство обнаруживает себя как систематическая деформация социального пространства. С одной стороны, учителя (-43) находятся рядом с шахтерами (-44), преподаватели (-21) рядом с квалифицированными рабочими (-19), артисты (-15) рядом с рабочими ручного труда (-15) и конторские служащие (-9) рядом с рабочими-специалистами (-10), тогда как с другой стороны, промышленники (+61) следуют за лицами свободных профессий (+47), высшие управленческие кадры (+34) и, очень близко, коммерсанты (+32) занимают противоположный край политического пространства, а техники (+2) и мастера на производстве (+1) находятся на границе между правыми и левыми. Кажется, все указывает на то, что вторая оппозиция образуется между слоями, ориентированными в значительной степени на выбор, оцениваемый как наиболее совпадающий с их областью политического пространства. Так, промышленники и лица свободных профессий, с одной стороны, составляющие долю тех, кто весьма вероятно будет голосовать за Центр, а с другой стороны — рабочие занятые ручным трудом, рабочие-специалисты и высококвалифицированные рабочие, голосующие с большой вероятностью за Коммунистическую партию, оказываются в оппозиции слою, состоящему из значительного числа воздерживающихся от голосования и тех, чей политический выбор относительно плохо классифицируется (левые некоммунисты или голлисты), т. е. артистов, преподавателей, учителей, мастеров на производстве, которые, может быть, тем самым выражают двойственность и противоречивость, связанные с их шаткой позицией в социальном пространстве.

Само собой, что полностью учитывать политические точки зрения и политическую практику мы можем не более, чем другие практики. Если абстрагироваться от всего, что ощущается по обычным признакам социального происхождения, то нужно по меньшей мере различать эффект траектории, приводящей от исходной позиции к актуально занимаемой позиции, т. е. видеть результаты действия социальных обусловленностей, вписанных в частные условия и особенно много дающих для понимания выработанной политической позиции как выраженной позиции, занятой в отношении социального мира, а также эффект внушения, собственно говоря, политическое воспитание, которое, как и воспитание религиозное, будучи усвоенным с детства, в кругу семьи, есть в некотором смысле его эвфемистическая форма.

Прежде чем выражать свое удивление теснотой связи, зафиксированной между религиозной практикой и политическим мнением, нужно спросить себя: а не вытекает ли она в основном из факта, что это не более, чем различные проявления одной диспозиции. Не только потому, что, как по своему содержанию, так и по материи внушения, религиозное воспитание есть эвфемистическое выражение политической социализации, но и потому, что предписания практики и исповедуемой веры заключают в себе назначение в некий класс и, следовательно, атрибуцию социальной идентичности. Каково бы ни было содержание связанного с ней внушения, социальная идентичность определяется по ее противоположности комплиментарному ей классу «неверующих» и, таким образом, она ответственна за все свойства, не входящие в нее в данный момент времени, например, такая политическая диспозиция, как консерватизм предполагает оппозицию «красных». Верность этой идентичности и тому, что ей сопричастно («Я — христианин»), придает исповедуемой вере большую автономию по отношению к актуально имеющимся условиям существования. Что же касается собственно эффекта содержания религиозного сообщения, то можно думать, что оно усиливает изначальную естественную склонность к осмыслению социального мира в «персоналистской» логике «личного спасения», боязни нищеты или угнетения как фатальности или личной судьбы, болезни или смерти. Напротив, способ политического осмысления стремится выбросить из политики все то, что персоналистский способ мышления и религия представляют в этике, он старается начинать с того, что затрагивает домашнюю экономику, отсюда вытекает то, что он мало готов к тому, чтобы политизировать домашний быт, такой как потребление или условия для женщин. Трудности удваиваются из-за того, что авангард политизации домашнего быта часто составляют индивиды или движения христианские по своему происхождению и нелегко определить, политизируют ли они домашний быт или «одомашнивают» и деполитизируют политику.

Спрос и предложение общественного мнения

Для того, чтобы попытаться уточнить отношение между сложившимися социально на данный момент времени классами и политическими мнениями, можно попытаться рассмотреть, исходя из имеющейся



статистики, каким образом из различных более или менее политически «маркированных» газет и еженедельников, которые делают различные классы и слои классов, распределяются выборы. Такой подход не будет совершенно закономерен, если мы не начнем с вопроса о том, какое значение имеет для тех или иных категорий читателей чтение газет. Вопрос этот не имеет ничего общего с вопросом о функциях, которые обычно приписываются чтению, или функциях, которые ему намечает производитель или его доверенное лицо. Одна лишь этноцентрическая вера в миф о «личном мнении», формируемая за счет постоянных усилий осведомляться, быть в курсе, может заставить забыть, что газета (journal), когда читают ее одну, есть лишь «журнал мнений»[xii].

Относительная независимость от политических мнений читателей по вопросу о выработке политических позиций газеты, таким образом, связана с тем, как газета, в отличие от политической партии, подает информацию, не являющуюся исключительно политической (в узком смысле, какой обычно придают этому слову). Эта разнообразная газетная продукция, предлагающая в очень сильно варьирующих пропорциях политику (международную или внутреннюю), происшествия, спорт, может быть предметом интереса, относительно независимого от специфически политических интересов[19]. К тому же, органы прессы, которые можно назвать «омнибусами» (а к ним можно отнести большинство местных газет), подчиняясь сознательному поиску увеличения числа читателей, ценимых за доходы, которые они приносят, покупая газету, а еще и за дополнительное увеличение значимости, получаемой в глазах рекламодателей[20], заставляют себя методически уклоняться от всего, что может шокировать публику и оттолкнуть часть имеющихся или потенциальных читателей. Иначе говоря, в первую очередь, «омнибусы» избегают занимать чисто политические позиции (уклоняясь по той же причине и от случайных разговоров между неизвестными лицами в пользу гарантированных топиков[xiii] «о том, о сем»), во всяком случае, за исключением таких тем, которые могут восприниматься не столько как политические, сколько как официальные декларации (то, что придает газетам-«омнибусам» вид полуофициальных или «правительственных» органов)[21]. Такой императив, который все более и более внушается по мере роста сторонников (clientelle), с неизбежным объединением людей со все более и более различными вкусами и мнениями, достаточен для объяснения инвариантных характеристик всех культурных благ, которые несут «омнибусы», телевизионные сериалы и фильмы, снятые по большим спектаклям, бестселлеры, мастерски деполитизированные политические сообщения, называемые «кладовкой» («*attrape-tout*», «*catch-all*»), а также пустой красоты голливудских звезд, профессионального бюрократического обаяния или безупречно вежливого и культурного общего вида образцовых управленцев, которые за свое возвышение должны платить методическим сглаживанием всех социальных шероховатостей, или как та продукция, которая может до определенного предела быть совершенно неклассифицируемой или, как обычно говорят, бесцветной и такой ценой быть доступной любому вкусу.

Таким образом, большие газеты или еженедельники-«омнибусы», которые получают максимальное расширение аудитории через нейтрализацию продукции, во всем противостоят авангардным группкам или маленьким журналам, которые свидетельствуют о своей верности в отношении заявленной ими программы либо своим быстрым исчезновением, либо своим бесконечно подвешенным существованием (в смысле подписки, сверхзагруженности ответственных за выпуск, самоотверженности активистов и т. п.). Если только им не удастся преодолеть или уладить конфликты, которые возникают как на уровне производства, так и читателей, при поиске максимального расширения своих сторонников как условия доступа к власти, принуждая к уступкам, компромиссам и смягчениям в противоречии с заявленной программой и порывая с наиболее старой и наиболее «значимой» частью читателей. Так, например, некоторым крупным органам прессы удается при рациональном управлении конкуренцией внутри производственной единицы, функционирующей как поле, найти способ предложить, не задаваясь явным образом такой целью, различным категориям читателей или избирателей (в случае «Монд», например — различным слоям доминирующего класса) продукцию диверсифицированную и приспособленную к их различным, и даже противоположным, ожиданиям.

Но кроме того, рабочие и служащие (если исключить из них самых политизированных, читающих «Юманите» или другую такую же леворадикальную газету) практически не видят в ежедневных газетах такого рода «политического гида» или «морального и культурного ментора», которыми они являются может быть со всей строгостью лишь для части читателей «Фигаро», как не видят в них и инструмент информирования, документации и анализа, которым он является, без сомнения, лишь для студентов Sciences Po (Высшая школа политических наук) или ENA (Национальная высшая школа администрации), функционеров высокого уровня или части преподавателей, то есть для публики,

являющейся мишенью для «Монд». Кроме спортивных результатов и комментариев в понедельник утром, от газеты ожидают того, что называют «новости», то есть информацию о событиях, к которым люди чувствуют себя непосредственно причастными, поскольку они касаются людей знакомых (смерти, браки, несчастные случаи или школьные достижения, опубликованные в местных газетах) или людей, похожих на них, чью боль, нищету или невезение они ощущают «по доверенности» (как, например, катастрофу, происшедшую летом 1978 года на популярном кемпинге в Испании). Интерес к такого рода «новостям», которые считающие себя «серьезными» газеты помещают на последнем месте, поскольку хорошим тоном является относиться к ним свысока, конечно, не отличается по природе от того интереса, который члены господствующего класса, наиболее близкие к кругам, принимающим политические решения, придают новостям, называемым «общими»: назначение членом министерских кабинетов или плановой комиссии, выборы в Академию или приемы в Елисейском дворце, борьба кланов внутри политического аппарата, войны за наследство в рядах, такой-то большой газеты или такого-то большого предприятия, не говоря уж о светской хронике и о списках награжденных в конкурсах *Grandes écoles*[xiv]. Только на обедах или в разговорах о буржуазном образе жизни имена собственные, имеющие всеобщий интерес — например, министр финансов или управляющий его кабинетом, директор «Шлюмберже» или директор по ценам и др. — соотносятся со знакомыми персонами, конкретно известными и часто встречающимися, которые, как соседи или близкие родственники в деревенском пространстве, принадлежат к миру знакомых друг другу людей (именно такое предварительное условие, обязывающее войти в этот «мир» [«monde»], не способствует чтению «Монд»). Забывают, что господствующий класс точно определяется по тому, что у него есть частный интерес к делам, которые навязывают «всеобщим интересом», поскольку частные интересы его членов особым образом связаны с этими делами.

Но не в этом заключается основание подозревать существование полунаучной оппозиции между «news» и «views» — между «газетами-сенсациями» и «газетами-размышлениями». В действительности, через чтение этих двух категорий газет прослеживаются два совершенно различных отношения к политике. Факт чтения общенациональной газеты и, особенно, одной из таких больших легитимных газет как «Фигаро» или «Монд» — это один из многих способов (также как и письма в газеты или заметки для газет, подписание обращений, опубликованных в газетах или ответ на анкету, распространяемую через газету и т. д.) продемонстрировать, что чувствуешь себя членом правовой страны, то есть в праве и обязан участвовать в политике, осуществлять на деле свои гражданские права.

Но разница между «прессой для сенсаций» и «прессой для информирования» воспроизводит в основном оппозицию между теми, кто делает политику в действиях, речах и мыслях, и теми, кто ей подчиняется, между действующим мнением и мнением, подверженным действию. И не случайно противопоставление двух пресс вызывает, как фигуру-антитезу, понимание и чувство, рефлексию и ощущение, которые находятся в центре господствующего представления об отношении между доминирующими и доминируемыми. Это противопоставление двух отношений к социальному миру, оппозиция между суверенной точкой зрения того, кто доминирует в социальном мире на практике или в мыслях (как говорила Вирджиния Вульф: «Les idées générales sont des idées de général» — «Генеральные идеи суть идеи генерала»), и видением слепым, узким, частичным — как у простого солдата, потерявшего в бою — то есть видением тех, над кем этот мир доминирует[22].

Политический анализ предполагает либо дистанцию, возвышение, позицию для обзора наблюдателя, остающегося в стороне от драки, либо историческое отступление, которое дает время для рефлексии. Такого рода политическое дистанцирование, способно (также как и эстетическое дистанцирование) нейтрализовать предмет в его непосредственности, насущности, функциях и заменить выражения в форме прямой речи или лозунги с их грубой резкостью на их эвфемизированный перевод в форме косвенной речи. Политическое дистанцирование позволяет заместить (subsumer) унифицированными концептами политического анализа настоящее наглядное множество: явления в их чистой фиктивности, происшествия, разнообразно ощущаемые, непосредственные, эфемерные события — все то, что называют сенсационным, и чтением чего довольствуется обычный читатель обычных ежедневных газет, зевака, обреченный на погружение в события и на кратковременные, скоротечные и простые ощущения. Так же как «сложное» искусство в противоположность «легкому» искусству или как эротизм в противоположность «порнографии», газеты, считающиеся «качественными», вызывают такое отношение к объекту, которое содержит утверждение дистанции от него, которое является утверждением власти над объектом и, вместе с тем, достоинства субъекта, упрочивающегося в этой власти. Такие газеты дают читателю значительно больше, чем «личное» мнение, в котором он

нуждается, — они признают за ним достоинство политического субъекта, способного быть если не субъектом истории, то по меньшей мере субъектом исторического дискурса.

Раскрыв таким образом значение связи, которую поддерживают различные социальные классы со своими газетами и посредством которой они несомненно ощущают размах своего объективного и субъективного отношения к «политике» (которое проявляется также через процент участия в управляющих инстанциях различных партий или в различных выборных должностях), можно попытаться выделить переменные, которыми описывается чтение общенациональных ежедневных газет, наиболее ярко политически «маркированных» указаниями на занимаемую политическую позицию. В первую очередь, можно достаточно точно прочертить границу, нераздельно культурную и политическую, между народными классами, которые помимо местных газет читают почти исключительно газеты-«омнибусы», и средними классами. Техники, среди которых доля читающих ежедневную прессу близка к доле читающих мастеров на производстве, противопоставляются служащим, которые читают ощутимо больше, и кадрам среднего уровня, которые читают намного больше, но значительно более «правую» прессу (то есть в большей степени читают «Круа», «Фигаро», «Монд» и в меньшей — «Юманите» или «Экип»). Здесь мы, несомненно, фиксируем кумулятивные эффекты сильно различающейся профессиональной среды: мира цехов и мира бюро; но еще и эффекты образования, способного усилить изначальные различия: техническая подготовка склоняет к практикам и интересам сходным с теми, которые имеются у занятых ручным трудом; а общее среднее образование, которое, приобщая (сколь бы мало это ни было) к легитимной культуре и ее ценностям, приводит к разрыву с народным мировоззрением.

Газеты и еженедельники, за исключением «Юманите», играют, в действительности, свою роль политического «маркера», лишь начиная с уровня средних классов. Пространство, которое очерчивает количественные и качественные характеристики читателей, воспроизводит достаточно точно, как на уровне средних, так и на уровне доминирующих классов, обычные оппозиции по объему и структуре капитала. С одной стороны, — слои, богатые (относительно) экономическим капиталом (ремесленники и мелкие коммерсанты или промышленники и крупные коммерсанты), которые читают мало и, в основном, газеты-«омнибусы», а с другой — слои, богатые (относительно) культурным капиталом (служащие, кадры среднего уровня, промышленники — в первую очередь, и либеральные профессии, инженеры, кадры высшего уровня и преподаватели — во вторую), которые читают много в равной мере и общенациональные ежедневные газеты (главным образом, наиболее «легитимные»), и еженедельники. В средних классах, как и в доминирующем классе, доля читателей ежедневных общенациональных газет и «левых» газет уменьшается, тогда как доля читающих региональные ежедневные газеты и «правые» газеты увеличивается, при переходе от учителей начальных классов и преподавателей к мелким или крупным коммерсантам.

Оппозиция между слоями по структуре имеющегося капитала сглаживается эффектами оппозиции, которая внутри каждого слоя противопоставляет «молодых» и «старых» или, точнее, предшественников и последователей, «старую игру» и «новую игру». Доминируемые слои, которые в силу своей позиции в пространстве доминирующего класса склонны в целом к ниспровержению частичному или символическому, имеют также своих доминирующих (временно), которые могут примыкать к консервативным тенденциям (помимо прочего из-за разрушительных диспозиций претендентов); а внутри доминирующих слоев, которые выступают заодно со всеми формами сохранения порядка, последователи (а также в некоторой мере женщины), изолированные на время от власти, могут разделять до некоторой степени и на более или менее длительный период видение социального мира, которое предлагают доминируемые слои.

Диаграмму политического пространства см. в Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Н.А. Шматко/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 140-141.

Действительный эффект траектории

Таким образом, чтобы нагляднее показать, что политический выбор значительно меньше, чем обычно считают, независим от социального класса, даже определенного синхронно через обладание неким определенным объемом капитала и некой его структурой, достаточно адекватным образом выстроить категории. Но можно продвинуться еще дальше в направлении, открытом Мишля и Симоном, если принимать в расчет диахронные свойства каждой социальной позиции и, может быть, особенно, если дать себе труд описать и понять, что означает политическая марка и соответствующий политический продукт для каждого адекватно охарактеризованного класса или слоя класса. Можно лишь сожалеть, что исследования, проведенные во Франции, не позволяют ощутить и изолировать эффекты траектории и внушения (через профессию или политические точки зрения родителей). И может еще более сожалеть, что они не дают никаких возможностей воспринимать различия непосредственно, по манере их выражения или их подтверждений, из-за чего номинально идентичные точки зрения на самом деле несравнимы, а значит и несовместимы (иначе, как на бумаге): Это не потому, что избирательная логика не признает различий между коммунистическим выбором артиста или профессора и коммунистическим выбором школьного учителя или, а fortiori[xv], служащего, рабочего-специалиста или шахтера, которые наука должна различать, но потому, что стараясь запретить себе всякую возможность давать научные объяснения, наука должна раскрыть действительно различные способы быть и называться коммунистом и значимые различия в голосовании за коммунистов, скрывающиеся за номинальной идентичностью выбора, не забывая также учитывать как политически важный факт, что электоральная логика рассматривает как идентичные точки зрения, различающиеся как по их интенциям, так по их ожиданиям.

Тем не менее, нельзя по настоящему понять различия, иногда огромные, которые разделяют близкие все же в объективном пространстве категории, как например, ремесленников или земледельцев, мастеров на производстве или техников, если не учитывать помимо объема и структуры капитала, эволюцию его свойств во времени, то есть социальную траекторию группы в целом, рассматриваемого индивида, его потомства, которая лежит в основе субъективных представлений об объективно занимаемой позиции. Одна из наиболее определяющих характеристик политического выбора заключается в действительности в том, что политический выбор, больше, чем какой-либо другой и, особенно, больше, чем неопределенный и глубинный выбор габитуса[23], допускает в большей или меньшей степени эксплицитное и систематическое представление, которое мы имеем о социальном мире, о позиции, которую мы занимаем в нем, и которую мы «должны» занимать. А политические выступления, когда они имеются как таковые, являются лишь выражением этого представления, выражением более или менее эвфемистическим и обобщенным и никогда непризнаваемым даже в глазах самого выступающего. Иными словами, между реально занимаемой позицией и выработкой политической позиции располагается представление о позиции, которое, само будучи определено позицией (при условии, что та рассматривается комплексно, то есть также и диахронно), может рассогласовываться с выработанной политической позицией, какой она представляется для стороннего наблюдателя (то, что иногда называют «извращенным сознанием»). Наклон индивидуальной траектории и, в особенности, коллективной траектории задает, при опосредовании через временные диспозиции, восприятие занимаемой в социальном пространстве позиции и отношение удовлетворения или разочарования этой позицией, которое есть безусловно одно из главных опосредующих звеньев для установления связи между позицией и выработанной политической позицией. Степень, в которой индивиды или группы обращены к будущему; к новому, к движению, к инновациям, к прогрессу (диспозиции, которые демонстрируются в либерализме по отношению к «молодым», для кого и силами кого все это может осуществиться), и в более общем виде, в какой они склонны к социальному и политическому оптимизму или же, наоборот, ориентированы на прошлое, склонны к социальному злопамятству и к консерватизму, зависит на самом деле от их коллективной траектории, прошлой или потенциальной, то есть от степени, в которой они преуспели в воспроизводстве свойств своих предшественников, и в которой они способны (или чувствуют себя таковыми) воспроизвести свои свойства в последователях.

Находящийся в упадке класс или слой класса, то есть класс, ориентированный на прошлое, когда он со всеми своими свойствами более не способен воспроизводить состояния и позиции, и когда самые молодые члены класса должны в значительной степени для воспроизводства своего общего капитала и поддержания своей позиции в социальном пространстве (например, семейного происхождения или актуально занимаемой позиции) осуществлять как минимум реконверсию своего капитала, которой сопровождается смена состояния, отмеченная горизонтальным перемещением в социальном пространстве. Другими словами, когда воспроизводство классовых позиций невозможно

(деклассирование) или не осуществляется иначе, как через смену слоя класса (реконверсия). В этом случае изменение способа социального происхождения агентов определяет появление различных поколений, конфликты между которыми не сводятся к тому, что обычно понимают под конфликтами поколений, поскольку они имеют в качестве первопричины оппозицию между ценностями и стилями жизни, связанными с преобладанием в наследстве экономического или культурного капитала.

Структурная история поля (идет ли речь о поле социальных классов или о любом другом) разбивает биографию вовлеченных в данное поле агентов на периоды (таким образом, что индивидуальная история каждого агента заключает в себе историю группы, к которой он принадлежит); вследствие этого, невозможно разделить население на поколения (в противовес простому произвольному разбиению на классы по возрасту), иначе, чем на базе знания специфической истории рассматриваемого поля. Действительно, только те структурные изменения, которые затрагивают это поле, обладают властью определять формирование различных поколений, трансформируя способы происхождения и определяя организацию индивидуальных биографий и их агрегирование в класс биографий, оркестрованных и подчиненных одному ритму. Несмотря на то, что великие исторические события (революции или смены режима), которые наиболее часто используются как вехи для периодизации поля культурного производства, имеют в качестве результата синхронизацию различных полей на протяжении более или менее продолжительного времени и смешение в пространстве данного времени относительно автономной истории каждого из этих полей в общую историю, они вводят часто искусственные купюры и препятствуют исследованию собственной прерывности, свойственной каждому полю.

Либеральный консерватизм слоя доминирующего класса, воспроизводство которого обеспечивается в высшей степени самостоятельно, противопоставляется реакционным диспозициям тех слоев, которые, ощущая опасность в отношении своего коллективного будущего, могут поддерживать свои ценности лишь соотносясь с прошлым, обращаясь к нему и ссылаясь на систему ценностей, соответствующих прошлому состоянию структуры поля социальных классов.

Если верно, что индивиды, занимающие сходные позиции, могут иметь различные мнения в зависимости от их социального происхождения и их индивидуальной траектории, то все, по-видимому, указывает на то, что эффекты индивидуальной траектории осуществляются в границах собственных эффектов класса (что особенно заметно для групп, занимающих неопределенные позиции в социальном пространстве, и, исходя из этого, обреченных на большой разброс во всех отношениях) так, что этико-политические диспозиции членов одного класса обнаруживают себя как столько же трансформированных видов расположения позиций, которые существенным образом характеризуют классовую совокупность[24]. Таким образом, *obsequium*[xvi], это твердое признание установленного порядка, которое определяет границы протеста мелких буржуа, является также основой социальных добродетелей новых мелких буржуа. Когда речь идет о продаже благ или услуг, таких как культурные блага или материальные блага: «предметы комфорта», бытовая аппаратура, мебель и помещения, одежда и спортивные принадлежности, — которые служат более или менее удачной материализацией стиля жизни доминирующих классов и приобретение которых предполагает форму признания доминирующих ценностей в этике или эстетике, ничто не подходит более, чем склонность продавать свои добродетели, свою уверенность, свои собственные ценности под видом этического снобизма, для подтверждения единичности экземпляра, который содержит в себе приговор всем другим способам быть или делать. Эта склонность особенно предписывается, поскольку она включает в себя комбинацию доброй воли, являющейся условием начинания, и чистой совести в качестве вознаграждения, когда дело касается обращения в свою веру народных классов, и того, чтобы вовлекая их в гонку, принудить их к последнему «крику» буржуазных приличий, к последней моде или к последней морали. Такое «обращение» прибегает для подавления «репрессивных» диспозиций народных классов к такому же недостойному убеждению, что и буржуазия в прошлом вкладывала в подавление их непреодолимой сверхтерпимости и непреодолимой невоздержанности.

В области политики этическая капитуляция перед доминирующим классом и «ценностями», которые он воплощает, обнаруживается в недовольстве установленным порядком. Это недовольство находит свое основание в ощущении, что мы занимаем не то место, которое нам принадлежит по праву в этом порядке, и подчиняется нормам приличия, предписываемым желаемому классу, в самом споре с этим классом. Так, например, мелкие буржуа, прибегая к своей излюбленной стратегии оборачивания против господствующего порядка тех самых принципов, которые он провозглашает, говорят о признании, выражаемом ими этим принципам, и следовательно, о признании, которого они должны

удостаиваться во имя этих принципов, о своей неутомимой борьбе против скандала и более всего о лицемерии — источнике всех скандалов» которое мешает осуществлению этих принципов. Желание быть социально признанным и превосходящая идентификация с доминирующим классом обнаруживают себя в природе требований, которые направляются по-преимуществу на символические аспекты существования. Это происходит не столько потому, что посягательство на достоинство и на уважение «личности» переживается все более и более болезненно по мере избавления от самых грубых форм эксплуатации и угнетения, но еще и потому, что сама забота о достоинстве склоняет к требованиям более приспособленным и по форме, и по содержанию подтверждать достоинство того, кто их сформулировал.

Так, например, страх потерять то, что они приобрели, стремясь получить все, что им было обещано (в частности, через школу и тип диплома), конечно, не объясняет полностью форму, которую принимают стратегии, относящиеся к социальным требованиям мелких буржуа: обычным средствам борьбы рабочих — забастовке или демонстрации, — которые они предусматривают лишь как крайнюю меру, вырванную из их умеренности избытком несправедливости («Если нужно—мы выйдем на улицы»), мелкие буржуа предпочитают символическое оружие и прежде всего — педагогику, которая устанавливает отношения морального господства, или «информирование» — предмет их неистового доверия. Такая особая форма коллективного действия, которую осуществляет ассоциация — строго серийная группировка индивидов, объединенных только одним «делом», одним желанием осуществить в некотором роде этический ультиматум: общественная работа, показная трата «доброй воли», настоящее этическое действие и по-настоящему бескорыстное, не преследующее никакой иной цели, чем оно само, — такая форма коллективного действия наделяет, среди прочих прав, правом приходить в негодование во имя безупречности тех, кто не щадил себя и исполнил полностью свой долг и, особенно тех, кто свершил правое дело, взывающее к признательности[25]. Действие строго «бескорыстное», «чистое», «достойное»; свободное от каких-либо «политических компромиссов» является в действительности условием успеха идеи «институционализации» — наиболее завершенной формы социального признания, которого добиваются в более или менее скрытой манере все ассоциации, являющиеся по-преимуществу движениями мелких буржуа, которые, в отличие от партий, получают выгоды от достоинства и респектабельности идей «всеобщего интереса», полностью позволяя при этом удовлетворять самым непосредственным образом интересы частные[26].

Но если точно занятая в социальном пространстве позиция не связана с выработанными политическими позициями достаточно простыми и непосредственными связями, как те, что наблюдаются в других областях, то не только потому, что индивидуальная и коллективная траектория направляет восприятие социального мира и, в особенности, будущего этого мира посредством опыта, ассоциирующегося с подъемом или с упадком[27], но еще и главным образом потому, что вероятность того, что политический «выбор» будет лишь политической слепой реакцией этоса класса, возрастает по мере перехода к более старшим возрастным группам, к более мелким единицам поселения или по мере снижения в иерархии по уровню образования или социальному положению, и является ощутимо более сильной у женщин, чем у мужчин. Несмотря на то, что такая реакция реже отмечается у рабочих (более «политизированных»), чем у земледельцев или мелких предпринимателей, заражение политики моралью не минует и народные классы. Действительно, кто в зависимости от возраста (пожилые), половой принадлежности (женщины), места поселения (сельская местность) и, соответственно, их рабочей среды (работники мелких предприятий), более подвержен опасности социального упадка, падения или повторного падения в субпролетариат и, одновременно, менее образован и политически ограничен, и следовательно, менее склонен и подготовлен воспринимать проблемы и ситуации через политические категории перцепции и оценивания, у тех ничто не противодействует склонности к пессимизму, даже к озлоблению, которое склоняет к обобщенному отторжению «политики» и «политиков», какими бы те ни были, а через это к абсентеизму или к консерватизму.

Можно предположить, что индивиды тем более чувствительны к эффекту экрана (или извращенной контекстуализации), который оказывают группы на локальной основе (а также поля), т. е. что они более ориентированы брать в качестве точки отсчета для оценки занимаемой ими в социальном пространстве позиции социальное подпространство на географической основе (деревня, группа деревень и т. п.), чем более эти индивиды лишены свойств, которые определяют шансы на доступ к мнению или к средствам его конструирования (как, например, чтение ежедневных центральных газет). Доминирующие в пространстве, являющемся в целом доминируемым (как те, кто имеет собственность в 50 га земли в регионе мелких хозяйств, местные нотабли, мастера и др.), могут таким образом совершать политический выбор, напрямую связанный с выбором доминирующих («за деревьями леса

не видно»)[28]. Такая же логика, несомненно, прослеживается до определенной степени в том, что конторские служащие, расположенные на самой нижней ступени иерархии административных-работников и средних классов, голосуют с большим уклоном влево, чем мастера, которые располагаются на вершине рабочего класса. В более общем виде можно предположить, что при прочих равных и какой бы ни была позиция этих полей в социальном пространстве, доминирующие в относительно автономном поле имеют более значительную склонность голосовать «правее», чем доминируемые в «общающемся» поле, а доминируемые во всех полях — более выраженную склонность голосовать «левее», чем соответствующие доминирующие.

[i] Компетенция (фр. *compétence*) — имеет во французском языке два смысла: первый — атрибуция: ведение, компетенция (иметь что-либо в своем ведении, быть по части чего-либо, это не в моей компетенции...); второй — квалификация: осведомленность, компетентность. Следует упомянуть также однокоренные слова *compétitif* — конкурентоспособный и *compétition* — состязание, соревнование, конкуренция, борьба. — Прим. перев

[ii] Французское общество социальных исследований и опросов.

[iii] Опрос был проведен в феврале 1971 года фирмой SOFRES по проблемам, касающимся Франции, Алжира и стран третьего мира.

[iv] SOFRES. Телевидение и политика, май 1976 г.

[v] скрытая верность (лат.).

[vi] Этнос класса (от греч. *ethos* — нравы, нравственность) — систематизирующий принцип поведения со стороны выраженной морали. — Прим. перев.

[vii] LIP — Часовой завод во Франции, работники которого в конце 60-х годов боролись за свое участие в управлении и в прибылях — Прим. перев.

[viii] nihil — ничто; ex nihilo — из ничего (лат.).

[ix] Экзис — (*hexis* (греч.) — опытность, навык, сноровка) — один из аспектов габитуса; очерчивает наиболее специфические положения тела: устойчивые манеры держаться, говорить, ходить, а также — чувствовать и мыслить. «Интерииоризация есть инкорпорация». — Прим. перев.

[x] действенное усилие, замысел действия (лат.)

[xi] способ или механизм действия (лат.).

[xii] Так же, как и «журнал мод», предлагающий свой стиль — Прим. перев.

[xiii] Топик — тема, проблема. — Прим. перев

[xiv] Наиболее престижных высших школ — Прим. перев

[xv] тем более (лат.).

[xvi] послушание, подчинение, потворство (лат)

[1] Поле художественного производства, как и другие поля, постоянно разграничивается на поле возможных художественных позиций.

[2] Это очень общее отношение наблюдается, — как это видно в области художественной компетенции — там, где субъективные устранения («это меня не интересует» или «это не для нас») являются ничем

иным, как объективным устранением.

[3] Маркс К., Энгельс Ф. *Немецкая идеология*// Маркс К., Энгельс Ф Соч., Т. 3. С. 393.

[4] Энгельс Ф. *Анти-Дюринг*// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 199.

[5] Если согласиться с уравнением Маркса, которое он предлагает в «Немецкой идеологии», «язык есть действительное, практическое сознание» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 23.)

[6] Об историческом генезисе философии «invisible hand» (невидимой руки) и ее функции в экономическом и политическом мышлении можно прочитать у Альберта Хиршмана: см. Hirschman. *The Passions and the Interests, Political Arguments for Capitalism before its Triumph*. Princeton, New York, Princeton University Press, 1977.

[7] SOFRES. *La France, l'Algerie et le Tiers Monde*, fevrier 1971.

[8] Связь между безразличием и неспособностью была замечена различными исследователями, например: Riesman D., Glazer N. *Criteria for Political Apathy* // Gouldner A. W., (ed.) *Studies in Leadership*, New York/ Russel and Russel, .1965, P. 505-559; Kris ., Leites N. *Trends in twentieth Century Propaganda*, Roheim G., (ed.) *Psychoanalysis and the Social Sciences*. New York: IUP, 1947, P. 400.

[9] Заслуга приводимого анализа в том, чтобы показать, как, ставя акцент на господствующих субъектах («великих людях») или на персонализированных общественных объединениях, школьная история распространяет харизматическую философию истории, которая не имеет никакого значения для социальных интересов и конфликтов между антагонистическими группами, и которая обращается скорее к моральным оценкам, чем к критической рефлексии над историческими процессами и их социальными условиями.

[10] Нередко требования личного блага (вечерние курсы или послушание вышестоящим) входят в конфликт с требованиями общественного блага (участием в профсоюзной деятельности и т. п.) по практическим соображениям или потому, что они руководствуются двумя совершенно противоположными точками зрения на социальный мир. Кампании по переподготовке кадров или по повышению квалификации (прохождение внутренних конкурсов и т. п.) не имели бы позитивного эффекта, сравнимого с техническим перевооружением, если бы они не обеспечивали поддержку институций и социального порядка.

[11] Следует здесь упомянуть о целой серии статей и выступлений приверженцев «медицинского порядка» в защиту единичности медицинского акта, свободно исполненного свободным (и одиноким) человеком, или о недостойных протестах, которые вызвали у защитников университетского порядка требования признания коллективных работ. [Здесь: намек на события Мая 1968 года и появление организации «L'Ordre des medecines» — Прим. перев.]

[12] Эта посылка, имеющая свой эквивалент в эстетическом плане, как мы это уже видели, является частным случаем более общей посылки, согласно которой склонность и способность давать вербальную или практическую оценку своей позиции в зависимости от эксплицитных принципов, подчинять ее как таковую преднамеренной систематизации (причем этические, эстетические и политические суждения в большей степени, чем суждения, идущие от этоса) возрастают вместе с образовательным капиталом. Эта связь образуется по меньшей мере настолько же условиями существования, необходимыми для приобретения этого капитала, насколько и действием специфических возможностей, которые обеспечивает образовательный капитал.

[13] Чтобы раскрыть аналогию между опросом общественного мнения и голосованием, нужно проанализировать помимо философии политики, которая вписана в сами вопросы, философию, содержащуюся в методах анализа (и, в частности, в логике простого агрегирования статистических данных). Таким образом, можно было бы увидеть, что опрос общественного мнения никогда не был столь бли-зок к истине, чем тогда, когда стремясь предсказать результаты выборов, проводят предварительное, смоделированное в опросе голосование (*simulacre de vote* — фр.).

[14] Достаточно заметить, что выбор на двух уровнях наблюдается достаточно часто в области вкуса,



где, как это было уже неоднократно показано, потребители выбирают единицу продукта или сеть распределения (магазин, театр, радиостанцию и т. п.), и через этот выбор, они выбирают предлагаемые продукты; иначе говоря, когда потребители не делегируют прямо и непосредственно выбор доверенным лицам в области эстетики (например, декораторам, архитекторам и прочим продавцам эстетических услуг), которые играют в сфере вкуса роль достаточно сходную с ролью партии.

[15] Иначе говоря, принадлежность или явная политическая преданность — это не рядовой: фактор, действие которого можно изучать, как, например, изучают действие половой, возрастной или профессиональной принадлежности. Собственно политические принципы функционируют как относительно автономные факторы по отношению к экономическим и социальным детерминантам, позволяющим формировать мнения и практики, противостоящие непосредственному личному интересу (хотя приверженность политическим принципам не является независимой от этих детерминант).

[16] Следовательно, не случайно доверенность (или поддержка), которая является условием доступа к. политическому мнению для тех, кто лишен инструментов производства «личного мнения», есть одна из более или менее сознательно замаскированных целей консервативного или «революционно-консервативного» мировоззрения.

[17] Как производители речей на свой счет, интеллектуалы всегда стремятся испросить у инстанций, претендующих на монополию легитимного производства символических благ, как то церковь или партии, право на самоуправление мнением. (На этом основании экологическое движение, которое отказывается руководствоваться «свойствами» голосующих за них избирателей, не признавая одну из привилегий аппарата, представляет собой утопию, осуществленную партией интеллектуалов).

[18] См., Например, Michelat G. Simon M. *Categories socio-professionnelles en milieu ouvrier et comportement politique* // «Revue française de sociologie», XXV. 2. 1975 avril. P. 291-31. Классификация, применяемая авторами как для социально-профессиональных категорий, так и для политических мнений (сведенных к очень обобщенным категориям и без каких-либо модальных указаний), не позволяет явным образом противопоставить прочно утвердившуюся мелкую буржуазию с ее привязанностью к классическим политическим организациям (несмотря на то, что следствия утраты классового положения (деклассирования) порождают у них также новые виды требований и формы борьбы) и новую мелкую буржуазию, которую нужно узнавать во всех новых политических формах — от гошизма до экологии через Объединенную социалистическую партию и новые течения в Партии социалистов — и во всех лозунгах в стиле участия в управлении и самоуправления, способных удовлетворять надежды на автономию и на личный суверенитет мелких буржуа с интеллектуальными претензиями. Во всяком случае, можно заметить, что среди всех категорий, находящиеся в центре пространства медико-социальные службы (+28) располагаются ближе к полюсу, обозначающему промышленников, тогда как техники более склоняются к полюсу «шахтеры»; средние управленческие кадры (+14) и служащие в торговле (+16) занимают промежуточную позицию, также как и ремесленники (+13), инженеры (+19) и земледельцы (+20).

[19] В то время как парижские газеты по возрастающей выделяют место публикациям по международным делам, происшествиям и спорту: 14,8% : 8,8% : 8,9%, в провинциальных газетах эта пропорция обратная — соответственно: 7,9% : 8,4% : 16,5% (См., например: Kayser J. *Les quotidiens français*. Paris: Armand Colin, 1963. P 125-127). Можно предположить, что различия были бы еще заметнее, если отделить общенациональные газеты, которые дают под происшествия и спорт место сравнимое с провинциальными газетами (это случай, например, газеты «Паризьен»), от тех общенациональных газет, чья публика рекрутируется в основном из господствующего класса, как в «Фигаро» и в «Монде».

[20] Исследование рынка — одно из оружий в этой борьбе: в том смысле, что оно позволяет продемонстрировать «проницательность» газеты в глазах рекламодателей, от которых исходит более или менее важная часть их финансирования; оно значительно больше, чем инструмент познания, позволяющий лучше узнать и лучше удовлетворить ожидания читателей.

[21] В противоположность тем газетам и еженедельникам, которые исключаются как слишком «отмеченные» местами, где их обыкновенно предлагают читать: в клинике, ожидая приема врача, или

другом общественном учреждении, в кафе, в парикмахерской, — еженедельники-«омнибусы», специально приспособленные к тому, чтобы не пропустить ни одной потенциальной группы читателей («Пари-Матч», «Жур де Франс», «Экспресс»), прекрасно подходят к ситуациям, в которых их как раз просят выполнить эту функцию (так, «Паризьен либере» и «Франс суар» часто играют эту роль в парикмахерских).

[22] Нужно ли говорить, что такая оппозиция лежит в самом основании всякого технократического представления, которое признает только за одними просвещенными управляющими глобальный и тотальный взгляд, относя таким образом личные взгляды простых частных лиц к заблуждению, которое в этой логике, есть потеря?

[23] Также как то, что передается через биологическую наследственность, безусловно более стабильно, чем то, что передается через культурную наследственность, также и классовое бессознательное, внушенное через условия существования, является более стабильной основой производства суждений и мнений, чем эксплицитно установленные принципы, потому, что оно более независимо от сознания.

[24] Не следует исключать все по существу смешанные выработанные политические позиции, парадигмой которых является движение «революционеров-консерваторов» донацистской Германии, которые, без сомнения, воспроизводят в своей неопределенности противоречия, присущие бунту против деклассирования (род противоречия в терминах) или противоречия, присущие рассогласованию между индивидуальной траекторией и коллективной траекторией.

[25] Такая стратегия очень распространена в межперсональных отношениях и, в частности, в «экономике» домашних обменов, когда безупречность, полученная в результате оказанных услуг, позволяет становиться живым укором.

[26] Все позволяет считать, что мелкие буржуа в тем большей степени опасаются скомпрометировать себя связью с Коммунистической партией: неуместной, слабо чувствительной к их специфическим интересам и, главным образом, плохо относящейся к морализаторской, назидательной и туманно гуманистической фразеологии, которой сами мелкие буржуа охотно сознаются («ценности», «расцвет», «взять на себя», «выдвинуть», «ответственный», «партнер», «заинтересованный» и т. п.), — чем сильнее поощрялись, начиная с детских лет, их забота о собственном достоинстве и их индивидуалистическая осторожность, с одной стороны — более благоприятными условиями жизни и, с другой, — более насыщенным религиозными ценностями начальным воспитанием, склоняющим к персонализму. Такие результаты выработки «условного рефлекса» или «вдалбливания в голову» тем более вероятны, чем из более высокого социального слоя вышли мелкие буржуа, и, следовательно, такие результаты могут быть удвоенными эффектами нисходящей траектории. Можно также предположить, что они пошли бы за Объединенной социалистической партией и всем тем, что в ней есть одновременно протестующего и благопристойного, оспаривающего и морального, если бы она была не так открыто революционна или, если, взявшись за ум, она пришла бы к обращению в партию правительства (что похоже на сегодняшнюю ситуацию с технократическо-модернистской тенденцией в Партии социалистов). Но мелкие буржуа также легко сознаются и в реформаторском и «интеллигентном» консерватизме. Короче говоря, они балансируют и в период кризиса могут резко покачнуться в обратную сторону.

[27] Для того, чтобы понять политические практики и мнения пожилых людей, нужно принимать в расчет не только эффект пенсионера, который с выходом на пенсию оторвался от своего профессионального окружения, ослабил свои социальные связи и стремится сократить коллективные давление и поддержку, но учитывать еще и, главным образом, эффект социального спада, который оказывается тем более сильным и особенно тем более резким, чем к более обездоленному классу он принадлежал, и который, без сомнения, может пониматься по аналогии с эффектом, который нисходящие социальные траектории оказывают на индивидов или группы.

[28] Унификация экономического и символического рынка и соответствующее ослабление автономии социальных пространств на локальной основе стремится благоприятствовать «политизации» земледельцев, которые, попадая во все большую зависимость от экономических механизмов и политических решений, имеют все большую выгоду интересоваться политикой. Если «политизация» и не соответствует с необходимостью, как у рабочих, ориентации «влево», то, тем не менее, реальная

возможность такого выбора появляется, а сам консерватизм принимает совсем другой смысл.

Пьер Бурдьё

## ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ[i]

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Г.А. Чередниченко/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 159-177.)

Прежде всего хотел бы уточнить, что в мои намерения входит не простое и механическое разоблачение опросов общественного мнения, но попытка строгого анализа их функционирования и назначения. Это предполагает, что под сомнение будут поставлены три постулата, имплицитно задействованные в опросах. Так, всякий опрос мнений предполагает, что все люди могут иметь мнение или, иначе говоря, что производство мнения доступно всем. Этот первый постулат я оспарю, рискуя задеть чьи-то наивно демократические чувства. Второй постулат предполагает, будто все мнения значимы. Я считаю возможным доказать, что это вовсе не так, и что факт суммирования мнений, имеющих отнюдь не одну и ту же реальную силу, ведет к производству лишенных смысла артефактов. Третий постулат проявляется скрыто: тот простой факт, что всем задается один и тот же вопрос, предполагает гипотезу о существовании консенсуса в отношении проблематики, то есть согласия, что вопросы заслуживают быть заданными. Эти три постулата предопределяют, на мой взгляд, целую серию деформаций, которые обнаруживаются даже, если строго выполнены все методологические требования в ходе сбора и анализа данных.

Опросам общественного мнения часто предъявляют упреки технического порядка. Например, ставят под сомнение репрезентативность выборок. Я полагаю, что при нынешнем состоянии средств, используемых службами изучения общественного мнения, это возражение совершенно необоснованно. Выдвигаются также упреки, что в опросах ставятся хитрые вопросы или что прибегают к уловкам в их формулировках. Это уже вернее, часто получается так, что ответ выводится из формы построения вопроса. Например, нарушая элементарное предписание по составлению вопросника, требующее «оставлять равновероятными» все возможные варианты ответа, заставляю в вопросах или в предлагаемых ответах исключают одну из возможных позиций, или к тому же предлагают несколько раз в различных формулировках одну и ту же позицию. Есть разнообразные уловки подобного рода, и было бы интересно порассуждать о социальных условиях их появления. Большей частью они связаны с условиями, в которые поставлены составители вопросников. Но главным образом, уловки возникают потому, что проблематика, которую прорабатывают в институтах изучения общественного мнения, подчинена запросам особого типа.

Так, в ходе анализа инструментария крупного национального опроса французов о системе образования, мы подняли в архивах ряда бюро этой службы все вопросы, касающиеся образования. Оказалось, что более 200 из них было задано в опросах, проведенных после событий мая 1968 г., и только 20 — в период с 1960 г. по 1968 г. Это означает, что проблематика, за изучение которой принимается такого рода организация, глубоко связана с конъюнктурой и подчинена определенному типу социального заказа. Вопрос об образовании, например, мог быть поставлен институтом общественного мнения только тогда, когда он стал политической проблемой. В этом сразу же видно отличие, отделяющее подобные институции от центров научных исследований, проблематика которых зарождается если и не на небесах, то, во всяком случае, при гораздо большем дистанцировании от социального заказа в его прямом и непосредственном виде.

Краткий статистический анализ задававшихся вопросов показал нам, что их подавляющая часть была прямо связана с политическими заботами «штатных политиков». Если бы мы с вами решили позабавиться игрой в фанты и я бы попросил вас написать по пять наиболее важных, на ваш взгляд, вопросов в области образования, то мы, несомненно, получили бы список, существенно отличающийся от того, что нами обнаружен при инвентаризации вопросов, действительно задававшихся в ходе опросов общественного мнения. Вариации вопроса «Нужно ли допускать

политику в лицей?» ставились очень часто, в то время, как вопросы «Нужно ли менять программы?» или «Нужно ли менять способ передачи содержания?» задавались крайне редко. То же самое с вопросом «Нужна ли переподготовка преподавателей?» и другими важными, хотя и с иной точки зрения, вопросами.

Предлагаемая исследованиями общественного мнения проблематика подчинена политическим интересам, и это очень сильно сказывается одновременно и на значении ответов, и на значении, которое придается публикации результатов. Зондаж общественного мнения в сегодняшнем виде — это инструмент политического действия; его, возможно, самая важная функция состоит во внушении иллюзии, что существует общественное мнение как императив, получаемый исключительно путем сложения индивидуальных мнений: и во внедрении идеи, что существует нечто вроде среднего арифметического мнений или среднее мнение. «Общественное мнение», демонстрируемое на первых страницах газет в виде процентов («60% французов одобрительно относятся к...») есть попросту чистейший артефакт. Его назначение — скрывать то, что состояние общественного мнения в данный момент суть система сил, напряжений и что нет ничего более неадекватного, чем выражать состояние общественного мнения через процентное отношение.

Известно, что любое использование силы сопровождается дискурсом, нацеленным на легитимацию силы того, кто ее применяет. Можно даже сказать, что суть любого отношения сил состоит в проявлении всей своей силы только в той мере, в какой это отношение как таковое остается сокрытым. Проще говоря, политик — это тот, кто говорит: «Бог с нами». Эквивалентом выражения «Бог с нами» сегодня стало «Общественное мнение с нами». Таков фундаментальный эффект опросов общественного мнения: утвердить мысль о существовании единого общественного мнения, т. е. легитимировать определенную политику и закрепить отношения сил, на которых она основана или которые делают ее возможной.

Высказав с самого начала то, что хотел сказать в заключении, я постараюсь хотя бы в общем виде обозначить те приемы, с помощью которых достигается эффект консенсуса. Первый прием, отправной точкой имеющий постулат, по которому все люди должны иметь мнение, состоит в игнорировании позиции «отказ от ответа». Например, вы спрашиваете: «Одобряете ли Вы правительство Помпиду?» В результате регистрируете: 20%  $\frac{3}{4}$  «да», 50%  $\frac{3}{4}$  «нет», 30% — «нет ответа». Можно сказать: «Доля людей, не одобряющих правительство, превосходит долю тех, кто его одобряет, и в остатке 30% не ответивших». Но можно и пересчитать проценты «одобряющих» и «не одобряющих», исключив «не ответивших»; Этот простой выбор становится теоретическим приемом фантастической значимости, о чем я и хотел бы немного порассуждать.

Исключить «не ответивших» значит сделать то же самое, что делается на выборах при подсчете голосов, когда встречаются пустые, незаполненные бюллетени: это означает навязывание опросам общественного мнения скрытой философии голосования. Если присмотреться повнимательнее, обнаруживается, что процент не дающих ответа на вопросы анкеты выше в целом среди женщин, нежели среди мужчин, и что разница на этот счет тем существеннее, чем более задаваемые вопросы оказываются собственно политическими. Еще одно наблюдение: чем теснее вопрос анкеты связан с проблемами знания и познания, тем больше расхождение в доле «не ответивших» между более образованными и менее образованными. И наоборот, когда вопросы касаются этических проблем, например, «Нужно ли быть строгими с детьми?», процент, лиц, не дающих на них ответа, слабо варьирует в зависимости от уровня образования респондентов. Следующее наблюдение: чем сильнее вопрос затрагивает конфликтные проблемы, касается узла противоречий (как с вопросом о событиях в Чехословакии для голосующих за коммунистов), чем больше напряжения порождает вопрос для какой-либо конкретной категории людей, тем чаще среди них будут встречаться «не ответившие». Следовательно, простой анализ статистических данных о «не ответивших» дает информацию о значении этого вопроса, а также о рассматриваемой категории респондентов. При этом информация определяется как предполагаемая в отношении этой категории вероятность иметь мнение и как условная вероятность иметь благоприятное или неблагоприятное мнение.

Научный анализ опросов общественного мнения показывает, что практически не существует проблем по типу «омнибуса»; нет такого вопроса, который не был бы переистолкован в зависимости от интересов тех, кому он задается. Вот почему первое настоятельное требование для исследователя — уяснить, на какой вопрос различные категории респондентов дали, по их мнению, ответ. Один из наиболее вредоносных эффектов изучения общественного мнения состоит именно в том, что людям

предъявляется требование отвечать на вопросы, которыми они сами не задавались. Возьмем, к примеру, вопросы, в центре которых моральные проблемы, идет ли речь о строгости родителей, взаимоотношениях учителей и учеников, директивной или недирективной педагогике и т. п. Они тем чаще воспринимаются людьми как этические проблемы, чем ниже эти люди находятся в социальной иерархии, но эти же вопросы могут являться проблемами политическими для людей высших классов. Таким образом, один из эффектов опроса заключается в трансформации этических ответов в ответы политические путем простого навязывания проблематики.

На самом деле, есть множество способов, при помощи которых можно предопределить ответ. Есть прежде всего то, что можно назвать политической компетенцией по аналогии с определением политики, являющимся одновременно произвольным и легитимным, то есть доминирующим и завуалированным. Эта политическая компетенция не имеет всеобъемлющего распространения. Она варьирует *grosso modo*[ii] соответственно уровню образования. Иначе говоря, вероятность иметь мнение о всех вопросах, предполагающих политические знания, в достаточной мере сравнима с вероятностью быть завсегдаемым музеев. Обнаруживается фантастический разброс: там, где студент, принадлежащий к одному из левацких движений, различает 15 политических направлений, более левых, чем Объединенная социалистическая партия, для кадра среднего звена нет ничего. Из всей шкалы политических направлений (крайне левые, левые, левые центристы, центристы, правые центристы, правые и т. е.), которую «политическая наука» употребляет как нечто само собой разумеющееся, одни социальные группы интенсивно используют только небольшой сектор крайне левых направлений, другие — исключительно «центр», третьи используют всю шкалу целиком. В конечном счете выборы — это соединение совершенно разнородных пространств, механическое сложение людей, измеряющих в метрах, с теми, кто измеряет в километрах, или, того лучше, людей, использующих шкалу с отметками от 0 до 20 баллов, и тех, кто ограничивается промежутком с 9-го по 11-й балл. Компетенция измеряется в числе прочего тонкостью восприятия (то же самое в сфере эстетики, когда кто-то может различать пять, шесть последовательных стилей одного художника).

Это сравнение можно продолжить. В деле эстетического восприятия прежде всего должно соблюдаться условие, благоприятствующее восприятию: нужно, чтобы люди рассуждали о конкретном произведении искусства как о произведении искусства вообще; далее, восприняв его как произведение искусства, нужно, чтобы у них в распоряжении оказались категории восприятия его композиции, структуры и т. п. Представим себе вопрос, сформулированный таким образом: «Вы сторонник директивного или недирективного воспитания?». Для некоторых он может обернуться вопросом политическим, относящим представлению об отношениях между родителями и детьми к системе взглядов на общество, для других — это вопрос чисто моральный. Итак, вопросник, составленный таким образом, что людей спрашивают, считают или не считают они для себя политикой забастовки, участие в поп-фестивалях, отращивание длинных волос и т. д., обнаруживает очень серьезный разброс в зависимости от социальной группы. Первое условие адекватного ответа на политический вопрос состоит в способности представлять его именно как политический; второе — в способности, представив вопрос как политический, применить к нему чисто политические категории, которые, в свою очередь, могут оказаться более или менее адекватными, более или менее изощренными и т. д. Таковы специфические условия производства мнений, и опросы общественного мнения предполагают, что эти условия повсюду и единообразно выполняются, исходя из первого постулата, по которому все люди могут производить мнение.

Второй принцип, согласно которому люди могут производить мнение, это то, что я называю «классовым этосом» (не путать с «классовой этикой»), т. е. система латентных ценностей, интериоризованных людьми с детства, в соответствии с которой они вырабатывают ответы на самые разнообразные вопросы. Мнения, которыми люди обмениваются, выходя со стадиона по окончании футбольного матча между командами Рубэ и Валансьена, большей частью своей связности и своей логики обязаны классовому этосу. Масса ответов, считающихся ответами по поводу политики, на самом деле производится в соответствии с классовым этосом, и тем самым эти ответы могут приобретать совершенно иное значение, когда подвергаются интерпретации в политической сфере. Здесь я должен сослаться на социологическую традицию, распространенную главным образом среди некоторых социологов политики в Соединенных Штатах, которые говорят обычно о консерватизме и авторитаризме народных классов. Эти утверждения основаны на сравнении полученных в разных странах данных исследований или выборов, которые в тенденции показывают, что всякий раз, в какой бы ни было стране, когда опрашиваются народные классы о проблемах, касающихся властных отношений, личной свободы, свободы печати и т. п., их ответы оказываются более «авторитарными»,

чем ответы других классов. Из этого делают обобщающий вывод, что существует конфликт между демократическими ценностями (у автора, которого я имею в виду — Липсета — речь идет об американских демократических ценностях) и ценностями, интериоризованными народными классами, ценностями авторитарного и репрессивного типа. Отсюда извлекают нечто вроде эсхатологического видения: поскольку тяга к подавлению, авторитаризму и т. п. связана с низкими доходами, низким уровнем образования и т. п., надо поднять уровень жизни, уровень образования, и таким образом мы сформируем достойных граждан американской демократии.

На мой взгляд, под сомнение надо поставить значение ответов на некоторые вопросы. Предположим блок вопросов типа: «Одобряете ли Вы равенство полов?», «Одобряете ли Вы сексуальную свободу супругов?», «Одобряете ли Вы нерепрессивное воспитание?», «Одобряете ли Вы новое общество?» и т. д. Теперь представим блок вопросов типа: «Должны ли преподаватели бастовать, если их положение под угрозой?», «Должны ли преподаватели быть солидарными с другими государственными служащими в период социальных конфликтов?» и т. п. На эти два блока вопросов даются ответы, по структуре их распределения прямо противоположные в зависимости от социального класса опрашиваемых. Первый ряд вопросов, затрагивающий некоторый тип инноваций в социальных отношениях, в символической форме социальных связей, вызывает тем более одобрительные ответы, чем выше положение респондента в социальной иерархии и в иерархии по уровню образования. И наоборот, вопросы, затрагивающие действительные перемены в отношениях силы между классами, вызывают ответы тем более неодобрительные, чем выше респондент стоит в социальной иерархии.

Итак, утверждение: «Народные классы склонны к репрессиям» ни верно, ни ложно. Оно верно в той степени, в какой народные классы проявляют тенденцию показывать себя гораздо большими ригористами, чем другие социальные классы, в столкновении с комплексом проблем, затрагивающих семейную мораль, отношения между поколениями или полами. Напротив, в вопросах политической структуры, ставящих на кон сохранение или изменение социального порядка, а не только сохранение и изменение типов отношений между индивидами, народные классы в гораздо большей степени одобряют инновацию, то есть изменение социальных структур. Вы видите, как некоторые из поставленных в мае 1968 г. проблем, и часто поставленных плохо, в конфликте между коммунистической партией и гошистами, оказываются непосредственно связанными с центральной проблемой, которую я здесь пытаюсь поднять, проблемой природы ответов, то есть) принципа, исходя из которого эти ответы производятся, — осуществленное мною противопоставление двух групп вопросов в действительности приводит к противопоставлению двух принципов производства мнения: принципа собственно политического и принципа этического, проблема же консерватизма народных классов — результат игнорирования данного различия.

Эффект навязывания проблематики, эффект, производимый любым опросом общественного мнения и просто любым вопросом политического характера, (начиная с избирательной кампании); есть результат того, что в ходе исследования общественного мнения задаются не те вопросы, которые встают в реальности перед всеми опрошенными, и того, что интерпретация ответов осуществляется вне зависимости от проблематики, действительно отраженной в ответах различных категорий респондентов. Таким образом, доминирующая проблематика, представление о которой дает список вопросов, которые задавались институтами опросов в последние два года, т. е. проблематика, интересующая главным образом властей предрержащих, желающих быть информированными о средствах организации своих политических действий, весьма неравномерно усвоена разными социальными классами. И, что очень важно, эти последние более или менее склонны вырабатывать контрпроблематику. По поводу теледебатов между Сервен Шрайбер и Жискара Д'Эстеном один из институтов изучения общественного мнения задавал вопросы типа: «С чем связана успешная учеба в школе и институте: с дарованиями, интеллектом, работоспособностью, наградами за успехи?» Полученные ответы предоставляют в действительности информацию (те, кто ее сообщает, не отдают себе в этом отчета) о степени, осознания разными социальными классами законов наследственной трансляции культурного капитала: приверженность мифам об одаренности, о продвижении благодаря школе, о школьной справедливости, об обоснованности распределения должностей в соответствии с дипломами и званиями и т. п., очень сильна в народных классах. Контрпроблематика может существовать для нескольких интеллектуалов, но она лишена социальной силы, даже будучи подхваченной некоторым числом партий и группировок. Научная истина подчинена тем же законам распространения, что и идеология. Научное суждение — это как папская булла о регулировании деторождения, которая обращает в веру только уже обращенных.

В опросах общественного мнения идею объективности связывают с фактом формулирования вопросов в наиболее нейтральных терминах ради того, чтобы уравнивать шансы всех возможных ответов. На самом деле, опрос оказался бы ближе к тому, что происходит в реальности, если бы в полное нарушение правил «объективности» предоставлял респондентам средства ставить себя в такие условия, в каких они фактически находятся в реальности, т. е. апеллировал бы к уже сформулированным мнениям. И если бы вместо того, чтобы спрашивать, например, «Существуют люди, одобряющие регулирование рождаемости, есть и другие — неодобряющие. А Вы..?», предлагалась бы серия позиций, явно выраженных группами, облеченными доверием на формирование и распространение мнений, люди могли бы определиться относительно уже сформировавшихся ответов. Обычно говорят о «выборе позиции»: позиции уже предусмотрены и их выбирают. Между тем, их не выбирают случайно. Останавливают свой выбор на тех позициях, к избранию которых предрасположены в соответствии с позицией, уже занимаемой в каком-либо поле. Строгий анализ как раз нацелен на объяснение связей между структурой вырабатываемых позиций, и структурой поля объективно занимаемых позиций.

Если опросы общественного мнения плохо ухватывают потенциальные состояния мнения, точнее — его движение, то причиной тому, в числе прочих, совершенно искусственная обстановка, в которой мнения людей опросами регистрируются. В обстановке, когда формируется общественное мнение, особенно в обстановке кризиса, люди оказываются перед сформировавшимися мнениями, перед мнениями, поддерживаемыми отдельными группами, и таким образом выбирать между мнениями со всей очевидностью означает выбирать между группами. Таков принцип эффекта политизации, производимого кризисом: приходится выбирать между группами, определившимися политически, и все более определять выбор эксплицитно политическими принципами. Действительно, мне представляется важным то, что опрос общественного мнения трактует это мнение как простую сумму индивидуальных мнений, сбор которых происходит в ситуации подобной процедуре тайного голосования, когда индивид направляется в кабину, чтобы без свидетелей, в изоляции выразить свое отдельное мнение. В реальной обстановке мнения становятся силами, а соотношение мнений — силовыми конфликтами между группами.

Еще одна закономерность обнаруживается в ходе этого анализа: мнений по проблеме тем больше, чем более в ней заинтересованы. Так, доля ответов на вопросы о системе образования очень связана со степенью близости респондентов к самой системе, а вероятность наличия мнения колеблется в зависимости от вероятности иметь право распоряжаться тем, по поводу чего выражается мнение. Мнение, выражаемое как таковое, спонтанно — это суждение людей, мнение которых, как говорится, имеет вес. Если бы министр национального образования действовал в соответствии с опросами общественного мнения (или хотя бы исходя из поверхностного знакомства с ними), он не поступал бы так, как поступает в действительности, действуя как политик, т. е. исходя из полученного телефонного звонка, визита такого-то профсоюзного деятеля, такого-то декана и т. д. На деле он поступает в зависимости от реально сложившейся расстановки сил общественного мнения, которые воздействуют на его восприятие только в той мере, в какой они обладают силой, и в той мере, в какой они обладают силой, будучи мобилизованными.

Вот почему, касаясь предвидения того, чем станет Университет в ближайшие десять лет, я полагаю, что мобилизованное общественное мнение представляет собой наилучшую основу. Как бы там ни было, факт, о котором свидетельствуют «не ответившие», факт того, что предрасположенности ряда категорий не достигают статуса общественного мнения, иначе говоря, сформировавшегося высказывания, претендующего на связность выражения, на общественный резонанс, признание и т. д., не должен давать основания для вывода, будто люди, не имеющие никакого мнения, станут в обстановке кризиса выбирать случайно. Если проблема будет конституирована для них политически (проблема зарплаты, ритма труда для рабочих), они сделают выбор в терминах политической компетенции; если речь пойдет о проблеме, неконституированной для них политически (репрессивность внутрипроизводственных отношений), или находящейся в стадии кон-ституирования, они окажутся ведомыми системой глубоко подсознательных предрасположенностей, которая направляет их выбор в самых разных областях, от эстетики или спорта до экономических предпочтений. Традиционный опрос общественного мнения игнорирует одновременно и группы давления, и возможные предрасположенности, которые могут не выражаться в виде эксплицитных высказываний. Вот почему он не в состоянии обеспечить сколько-нибудь обоснованное предвидение того, что случится в обстановке кризиса.

Предположим, что речь идет о проблемах системы образования. Можно задать вопрос так: «Что Вы думаете о политике Эдгара Фор?»<sup>[iii]</sup> Такой вопрос очень близок к вопросу избирательного бюллетеня в том смысле, что ночью все кошки серы: все согласны *grosso modo* (сами не зная с чем), всем известно, что означало единодушное голосование по закону Эдгара Фор в Национальном собрании. Далее спрашивают: «Одобрите ли Вы допуск политики в лицей?» Здесь уже обнаруживается четкое разграничение в ответах. То же самое отмечается, когда задают вопрос «Могут ли преподаватели бастовать?» В этом случае представители народных классов, привнося свою специфическую политическую компетенцию, знают, что отвечать. Можно также спросить: «Нужно ли изменять программы?», «Одобрите ли Вы постоянный контроль?», «Одобрите ли Вы включение родителей учащихся в педагогические советы?», «Одобрите ли Вы отмену конкурса на степень агреже?» и т. д. Так вот, все эти вопросы присутствуют в вопросе: «Одобрите ли Вы Эдгара Фор?» и, отвечая на него, люди делали выбор одновременно по совокупности проблем, для постановки которых хороший вопросник должен был бы состоять не менее, чем из 60 вопросов, и по каждому из них обнаружилось бы колебание в ответах во всех направлениях. В одном случае в распределении ответов была бы положительная связь с позицией в социальной иерархии, в другом — отрицательная, в ряде случаев — связь очень сильная, в ряде других — слабая, либо вообще отсутствовала бы.

Достаточно уяснить, что выборы представляют предельный случай таких вопросов, как «Одобрите ли Вы Эдгара Фор?», чтобы понять: специалисты в политической социологии могли бы отметить следующее. Связь, наблюдаемая обычно почти во всех областях социальной практики между социальным классом и деятельностью либо мнениями людей, очень слаба в случае электорального поведения. Причем эта связь слаба настолько, что некоторые, не колеблясь, делают заключение об отсутствии какой-либо связи между социальным классом и фактом голосования за «правых» или за «левых». Если вы будете держать в голове, что на выборах одним синкретическим вопросом охватывают то, что сносно можно уловить только двумя сотнями вопросов, причем в ответах одни будут мерить сантиметрами, а другие — километрами, что стратегия кандидатов строится на невнятной постановке вопросов и максимальном использовании затушевывания различий ради того, чтобы заполучить голоса колеблющихся, а также множество других последствий, вы придете к заключению о том, что, видимо, традиционный вопрос о связи между голосованием и социальным классом нужно ставить противоположным образом. Видимо, следует спросить себя, как же так происходит, что эту связь, пусть и слабую, несмотря ни на что констатируют. И спросить себя также о назначении избирательной системы — инструмента, который самой своей логикой стремится сгладить конфликты и различия. Что несомненно, так это то, что изучение функционирования опросов общественного мнения позволяет составить представление о способе, каким действует такой особый тип опроса общественного мнения, как выборы, а также представление о результате, который они производят.

Итак, мне хотелось рассказать, что общественное мнение не существует, по крайней мере в том виде, в каком его представляют все, кто заинтересован в утверждении его существования. Я вел речь о том, что есть, с одной стороны, мнения сформированные, мобилизованные и группы давления, мобилизованные вокруг системы в явном виде сформулированных интересов; и с другой стороны, — предрасположенности, которые по определению не есть мнение, если под этим понимать, как я это делал на протяжении всего анализа, то, что может быть сформулировано в виде высказывания с некой претензией на связность. Данное определение мнения — вовсе не мое мнение на этот счет. Это всего лишь объяснение определения, которое используется в опросах общественного мнения, когда людей просят выбрать позицию среди сформулированных мнений и когда путем простого статистического агрегирования произведенных таким образом мнений производят артефакт, каковым является общественное мнение. Общественное мнение в том значении, какое скрыто ему придается теми, кто занимается опросами или теми, кто использует их результаты, только это, уточняя, общественное мнение не существует.

[i] Доклад, прочитанный в Норуа (Аррас) 9 января 1972 г., был опубликован в *Les Temps modernes*, janvier 1973. P. 1292-1309.

[ii] в общих чертах, приблизительно (лат.).

[iii] С именем Эдгара Фор, министра национального образования, связана реформа по демократизации и модернизации высшего образования Франции, последовавшая за социально-



политическими событиями, мая 1968 г. Соответствующий закон был принят Национальным собранием в октябре того же года. Прим. перев.

Пьер Бурдьё

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: Элементы теории политического поля

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Е.Д. Вознесенская/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 179-230.)

Памяти Жоржа Опта[i]

Для «политической науки» замалчивание условий, ставящих граждан, причем тем жестче, чем более они обделены экономически и культурно, перед альтернативой либо отказываться от своих прав, прибегая к абсентеизму, либо лишаться прав посредством их делегирования, означает то же, что для экономической науки замалчивание экономических и культурных условий «рационального» экономического поведения. Из опасения натурализации социальных механизмов, которые продуцируют и репродуцируют разрыв между «политически активными» и «политически пассивными агентами»[1], и превращения в вечные законы исторических: закономерностей, действительных лишь в пределах определенного состояния структуры распределения капитала, и, в частности, культурного капитала, необходимо помещать в основу всякого анализа политической борьбы экономические и социальные детерминанты разделения политического труда.

Политическое поле, понимаемое одновременно как поле сил и поле борьбы, направленной на изменение соотношения этих сил, которое определяет структуру поля в каждый данный момент, не есть государство государстве: влияние на поле внешней необходимости дает о себе знать посредством той связи, которую доверители, в силу своей дифференцированной отдаленности от средств политического производства, поддерживают со своими доверенными лицами[ii], а также посредством связи, которую эти последние в силу их диспозиций поддерживают со своими организациями. По причине неравного распределения средств производства того, или иного в явном виде сформулированного, представления о социальном мире, политическая жизнь может быть описана в логике спроса и предложения: политическое поле — это место, где в конкурентной борьбе между агентами, которые оказываются в нее втянутыми, рождается политическая продукция, проблемы, программы, анализы, комментарии, концепции, события, из которых и должны выбирать обычные граждане, низведенные до положения «потребителей» и тем более рискующие попасть впросак, чем более удалены они от места производства.

Монополия профессионалов

Не возвращаясь здесь к анализу социальных условий конституирования социальной и технической компетентности, необходимой для активного участия в «политике»[2], следует напомнить, тем не менее, что эффект препятствий морфологического характера (размер политических объединений и численность граждан противодействуют всякой форме прямого управления) в определенной степени усиливается эффектом невладения экономическим и культурным капиталом. Концентрация политического капитала в руках малого числа людей встречает тем меньшее сопротивление, и, следовательно, тем, более возможна, чем более исчерпывающе простые члены партий лишены материальных и культурных инструментов, необходимых для активного участия в политике, а именно свободного времени и культурного капитала[3].

В силу того, что продуктами, предлагаемыми политическим полем, являются инструменты восприятия и выражения социального мира (или, если угодно, принципов дифференцированного видения деления), распределение мнений среди определенного населения зависит от состояния наличных инструментов восприятия и выражения и от доступа, который имеют к этим инструментам различные группы. Это означает, что политическое поле выполняет функцию своего рода цензуры, ограничивая универсум политического выступления — и, тем самым, универсум политически мыслимого — конечным пространством выступлений, способных быть произведенными и воспроизведенными в пределах политической проблематики как пространства принятия позиций, фактически реализуемых в поле, т. е. социологически возможных, исходя из законов, регулирующих входение в поле. Граница между тем, что является политически выразимым или невыразимым, мыслимым или немыслимым для какого-либо класса непосредственно определяется через отношение между выраженными интересами этого класса и способностью выразить эти интересы, которую ему обеспечивает его позиция в отношениях культурного и, тем самым, политического производства. «Намерение, — замечает Витгенштейн, — воплощается в самой ситуации, в обычаях и человеческих институтах. Если бы не существовало техники игры в шахматы, не могло бы сформироваться мое намерение играть в шахматы. Если я могу заранее замыслить конструкцию какой-либо фразы, то это потому, что я могу разговаривать на соответствующем языке»[4]. Политическая интенция конституируется лишь в соответствии с определенным состоянием политической игры, точнее, универсума методов действия и выражения, им предоставляемых в определенный момент времени. В этом случае, как и в других, переход от имплицитности к эксплицитности, от субъективного впечатления к объективному выражению, к публичному проявлению в ходе выступления или коллективной акции конституирует собой акт институционализации и, тем самым, представляет собой форму официального признания, легитимации: неслучайно, как отмечает Бенвенист, все слова, связанные с правом, имеют корень, который означает «говорить». И институция, понимаемая как то, что уже институировано, эксплицитовано, производит одновременно эффект содействия и подтверждения законности и в то же время — ограничения и лишения прав. Принимая во внимание, что, по крайней мере, за исключением кризисных периодов, производство политически действенных и легитимных форм восприятия и выражения является монополией профессионалов и, соответственно, подчиняется требованиям и ограничениям, свойственным функционированию политического поля, мы видим, что последствия цензурной логики, которая фактически управляет доступом к выбору предлагаемых политических продуктов, усиливаются эффектом олигополитической логики, которая управляет их предложением. Монополия производства, предоставленная корпусу профессионалов, т. е. малому числу производственных объединений, в свою очередь контролируемых профессионалами, принуждение, довлеющее над выбором потребителей, которые тем полнее подвержены безусловной преданности известным ярлыкам и безоговорочному делегированию прав своим представителям, чем более они лишены социальной компетентности в политике и инструментов, необходимых для производства политических выступлений и акций, — все это делает рынок политики несомненно одним из наименее Свободных рынков.

Пути рынка тяготеют прежде всего над членами доминируемых классов, у которых нет иного выбора, кроме отказа от прав или самоотречения в пользу партии, этой перманентной организации, которая должна создавать представление о непрерывности класса, всегда стоящего перед опасностью власти в прерывность атомизированного существования (с уходом в частную жизнь и поиском путей личного спасения) или в ограниченность борьбы за сугубо частные цели[5]. Это приводит к тому, что они в значительно большей степени, чем члены доминирующих классов, которые могут удовлетворяться ассоциациями, группами давления или партиями-ассоциациями, испытывают необходимость в партиях, как перманентных организациях, ориентированных на завоевание власти и предлагающих своим активистам и избирателям не только доктрину, но и программу идей и действий и требующих, как следствие, глобальной и предвосхищающей приверженности. Как отмечает Маркс в «Нищете философии», зарождение социальной группы можно отсчитывать с того момента, когда члены ее представительных групп начинают бороться не только в защиту экономических интересов доверителей, но и в защиту и за развитие самой организации. Но как не видеть, что если существование какой-либо перманентной организации, относительно независимой от корпоративистских и конъюнктурных интересов, является условием перманентного и чисто политического представления о классе, то она же содержит в себе угрозу лишения прав для «любых» рядовых членов класса? Антиномия «установленного революционного порядка», как говорил Бакунин, совершенно совпадает с антиномией реформаторской церкви, как ее описывает Трельч. *Fides implicita*, полное и глобальное делегирование полномочий, посредством которого самые обездоленные массово предоставляют выбранной ими партии своего рода неограниченный кредит, позволяет свободно

развиваться механизм, стремящимся лишить их всякого контроля над аппаратом. В результате это приводит к тому, что, по странной иронии, концентрация политического капитала нигде не бывает столь высокой, за исключением противоположного случая намеренного (и маловероятного) вмешательства, как в партиях, которые ставят своей целью борьбу против концентрации экономического капитала.

Доминирующие лица в партии, чьи интересы так или иначе связаны с существованием и устойчивостью этой институции и со специфическими прибылями, которые она обеспечивает, находят в свободе, предоставляемой им монополией на производство и навязывание институционализированных политических интересов, возможность под видом интересов своих доверителей выставлять свои интересы доверенных лиц. При этом ничто не может служить полным доказательством, что таким образом универсализированные и облеченные в плебисцитную форму интересы доверенных лиц не совпадают с невыраженными интересами доверителей, поскольку первые обладают монополией на инструменты производства политических (т. е. политически выраженных и признанных) интересов вторых. В бунте против двойного бессилия — перед политикой, всеми предлагаемыми ею чисто серийными мероприятиями, и перед политическим аппаратом — коренится не что иное, как форма активного абсентеизма, иначе говоря, аполитичность, которая зачастую принимает форму антипарламентаризма и может обернуться любыми формами бонапартизма, буланжизма и голлизма, в основе своей являясь неприятием монополии политиков и политическим эквивалентом тому, чем в прежние времена было религиозное восстание против монополии священнослужителей.

#### Компетентность, ставки и специфические интересы

В политике, как и в искусстве, экспроприация прав большинства соотносится и даже является следствием концентрации собственно политических средств производства в руках профессионалов, которые могут рассчитывать на успех в собственно политической игре лишь при условии, что обладают специфической компетентностью. Действительно, нет ничего менее естественного, чем способ мышления и действия, требуемый для участия в политическом поле: так же, как и религиозный, художественный или научный габитус, габитус политика предполагает специальную подготовку.

Прежде всего это, конечно, все необходимое обучение для получения целого блока специфических знаний (теорий, проблематики, понятий, исторических традиций, экономических данных и т. д.), созданных и накопленных в ходе политической работы профессионалов настоящего и прошлого, а также более общие способности, такие как владение определенным языком и определенной политической риторикой, риторикой трибуна, необходимой в отношениях с непосвященными, или риторикой *debater*[iii], необходимой в отношениях с профессионалами. Но это также и прежде всего своего рода инициация с ее испытаниями и обрядами посвящения, которые стремятся привить практическое владение логикой, имманентной политическому полю, и внушить действительное подчинение ценностям, иерархиям и цензурам, свойственным данному полю, и специфической форме, в которую его давление и контроль облакаются внутри каждой партии. Это значит, что для того, чтобы полностью понять политические выступления, которые предлагаются на рынке в данный момент и совокупность которых определяет универсум того, что может мыслиться или выражаться политически в противоположность тому, что отбрасывается как немыслимое или невыразимое, следовало бы проанализировать весь процесс производства профессионалов идеологического производства, начиная с маркировки, производимой в зависимости от зачастую имплицитного определения желательной компетентности, которая предназначает их для этих функций, а также общего и специального образования, которое готовит профессионалов к их исполнению, и кончая непрерывным нормирующим воздействием. Последнее на них оказывают старшие члены группы, действуя сообща, в частности, когда вновь избранные включаются в какую-либо политическую инстанцию, куда они могли бы привнести искренность речей и свободу поведения, губительные для правил игры.

Лишение прав, коррелируемое с концентрацией средств производства инструментов по производству выступлений или действий, общественно признанных в качестве политических, непрерывно возрастало по мере того, как поле идеологического производства завоевывало свою автономию в результате появления крупных политических бюрократий освобожденных профессионалов, а также институций (во Франции, например, Высшая школа политических наук и Национальная школа

администрации), в чьи обязанности входят селекция и подготовка профессиональных создателей схем осмысления и выражения социального мира, политических деятелей, политических журналистов, высокопоставленных чиновников и т. д. и, одновременно, кодификация правил функционирования поля идеологического производства, а также набора знаний и умений, необходимых для того, чтобы им следовать. «Политическая наука», которая преподается в специально предназначенных для этой цели институциях, есть рационализация компетентности, которой требует универсум политики и которой профессионалы владеют на практике: она имеет целью повысить эффективность этого практического мастерства, предоставляет в его распоряжение рациональные техники, такие как зондаж, паблик-релейшн или политический маркетинг, в то же время она стремится легитимировать это мастерство, сообщая ему внешние признаки научности и институлируя политические вопросы в специализированные проблемы, братья за которые во имя знания, а отнюдь не классового интереса, надлежит специалистам.

Автономизация поля идеологического производства сопровождается, конечно, установлением права на вход в это поле и, в частности, ужесточением требований в отношении общей и даже специальной компетентности (что позволяет объяснить увеличение — за счет простых активистов — веса профессионалов, подготовленных в системе образования и даже в специализированных вузах — Высшей школе политических наук и Национальной школе администрации)[6]. Совершенно очевидно, что автономизация сопровождается также усилением влияния внутренних законов политического поля и, в частности, конкуренции между профессионалами по сравнению с воздействием прямых или косвенных соглашений, между профессионалами и непосвященными[7]. Это означает, что для понимания какой-либо политической позиции, программы, заявления, предвыборного выступления и т. д., по крайней мере, столь же важно знать универсум конкурирующих политических позиций, предлагаемых полем, как и требования мирян, за выбор позиции которых отвечают назначенные доверенные лица («база»). Выработка позиции — выражение говорит само за себя — это акт, который приобретает смысл лишь соотносительно, с помощью и через различие, отличительный разрыв. Искушенный политик — это тот, кто сумел практически овладеть объективным смыслом и социальным эффектом выработки своих позиций, благодаря достигнутому им овладению пространством выработки существующих и потенциальных позиций или, точнее, принципом выработки этих позиций, а именно, пространства объективных позиций в поле и диспозиций тех, кто их занимает: это «практическое чутье» возможных и невозможных, вероятных и невероятных позиций, выработанных различными держателями различных позиций, и позволяет опытному политику «выбирать» среди принятых приемлемых и заранее оговоренных позиций и избегать «компрометирующих» позиций, которые столкнули бы его с теми, кто занимает противоположные позиции в пространстве политического поля. Это же чутье политической игры, позволяющее политикам предвидеть позиции других политиков, делает также и их самих предвидимыми для коллег. Предвидимыми и, следовательно, ответственными в значении английского *responsible*, т. е. компетентными, серьезными, надежными, одним словом, готовыми с постоянством, без сюрпризов и шулерства, играть ту роль, которая им предписана структурой игрового пространства.

Именно эта основополагающая приверженность самой игре, *illusio*, *involvement*[iv], *commitment*[v] представляется абсолютным требованием политической игры, инвестированием в игру, которое является результатом и в то же время условием функционирования игры. Перед угрозой исключения из игры и потери прибылей, которые из нее извлекаются, идет ли речь о простом удовольствии, получаемом от игры, или о всех материальных и символических преимуществах, связанных с владением символическим капиталом, все те, кто имеет привилегию осуществлять инвестиции в игру (а не быть низведенным до индифферентности и апатии, аполитичности) вступают в негласный договор, который предполагается в самом факте участия в игре, в признании ее тем самым стоящей того, чтобы в нее играли, и которая объединяет всех участников с помощью своего рода изначального сговора значительно сильнее, чем все официальные или секретные соглашения. Эта солидарность всех посвященных, связанных между собой одинаковой основополагающей приверженностью игре и ставкам, одинаковым уважением (*obsequium*) к самой •игре и к неписаным правилам, ее определяющим, и одинаковым основополагающим инвестированием в игру, монополией на которую они обладают, и которую им необходимо продлевать, чтобы обеспечить рентабельность своих вложений, наиболее очевидным образом проявляется, когда игра как таковая оказывается под угрозой.

Двойная игра

Борьба, которая противопоставляет профессионалов, является, конечно, формой *par excellence* символической борьбы за сохранение или трансформацию социального мира посредством сохранения или трансформации видения социального мира и принципов видения деления этого мира, точнее, борьбы за сохранение и трансформацию установившегося деления на классы путем трансформации или сохранения систем классификации, которые являются его инкорпорированной формой, и институций, способствующих продлеванию действующей классификации путем ее легитимации[8]. Социальные условия для возможности борьбы обнаруживаются в специфической логике, согласно которой в каждой социальной формации организуется собственно политическая игра, в которой разыгрываются, с одной стороны — монополия разработки и распространения принципа легитимного разделения социального мира и тем самым мобилизации групп, а с другой — монополия применения объективированных инструментов власти (объективированный политический капитал). Таким образом она принимает форму борьбы за чисто символическую власть направлять взгляды и веру, предсказывать и предписывать, внушать знание и признание, что неотделимо от борьбы за власть над «органами государственной власти» (государственной администрацией). В парламентских демократиях борьба за завоевание расположения граждан (за их голоса, их взносы и т. п.) является также борьбой за поддержание или переустройство распределения власти над органами государственной власти (или, если угодно, за монополию легитимного использования объективированных политических ресурсов, права, армии, полиции, государственных финансов и т. п.). Агентами *par excellence* этой борьбы выступают партии — боевые организации, специально предназначенные вести эту сублимированную форму гражданской войны, постоянно мобилизуя посредством предписывающих предвидений максимально возможное число агентов, обладающих единым видением социального мира и его будущего. Для того, чтобы обеспечить эту продолжительную мобилизацию, партии должны, с одной стороны, разработать и навязать представление о социальном мире, способное завоевать приверженность как можно большего числа граждан, и, с другой стороны, завоевать посты (властные или нет), обеспечивающие власть над теми, кому эти посты предоставлены.

Таким образом, производство идей о социальном мире в действительности всегда оказывается подчиненным логике завоевания власти, которая является властью мобилизации наибольшей численности. Отсюда, без сомнения, то исключительное значение, которое придается при выработке легитимного представления религиозно-культовому способу производства, согласно которому предложения (резолуции, платформы, программы и т. п.) подлежат немедленной апробации определенной группой и, следовательно, могут быть навязаны лишь профессионалами, умеющими манипулировать одновременно идеями и группами, вырабатывать идеи, способные создавать группы, манипулируя этими идеями так, чтобы обеспечить приверженность им группы (с помощью, например, митинговой риторики или владения всей совокупностью техники выступлений, изложения, манипулирования собранием, что позволяет «протолкнуть» «постановление», не говоря уже о владении процедурами и способами, которые, как, например, игра с количеством мандатов, непосредственно контролируют само создание группы).

Было бы ошибочно недооценивать автономию и специфическую эффективность всего того, что входит в политическое поле, и сводить собственно политическую историю к некоему эпифеноменальному проявлению экономических и социальных сил, своего рода марионетками которых якобы пребывают политические деятели. Это значило бы не только игнорировать чисто символическую эффективность представления и ту мобилизующую веру, которую оно вызывает благодаря своему свойству объективации, но и упустить из виду чисто политическую-власть правительства, которое, как бы оно ни зависело от экономических и политических сил, может само оказывать реальное влияние на эти силы, воздействуя на инструменты управления вещами и людьми.

Сравнивать политическую жизнь с театром возможно лишь при условии, что отношение между партией и классом, между борьбой политических организаций и борьбой классов мыслится как чисто символическое отношение между обозначающим и обозначенным, точнее, между представителями, дающими представление, и представляемыми агентами, действиями, ситуациями. Согласованность между обозначающим и обозначенным, между представителем и представляемым достигается не столько в результате сознательного поиска приспособления к запросам сторонников или механического принуждения, оказываемого внешними воздействиями, сколько за счет гомологии между структурой политического театра и структурой представляемого мира, между межклассовой борьбой и сублимированной формой этой борьбы, которая разыгрывается в политическом поле[9].

Именно эта гомология способствует тому, что, стремясь к удовлетворению специфических интересов, которые навязывает им конкуренция внутри поля, профессионалы удовлетворяют сверх того интересы своих доверителей, и тому, что борьба представителей может быть описана как политический мимезис борьбы групп или классов, лидерами которых они становятся. Или, наоборот, выбирая позиции, наиболее тождественные интересам их доверителей, профессионалы преследуют также — не обязательно признаваясь себе в этом — цель удовлетворить собственные интересы, предписываемые им структурой позиций и оппозиций, составляющих внутреннее пространство политического поля.

Обязательная преданность интересам доверителей заслоняет интересы доверенных лиц. Иначе говоря, видимая связь между представителями и представляемыми, понимаемая как решающая причина («группы давления» и т. п.) или конечная цель (защита «дела», «служение» интересам и т. п.) скрывает отношения конкуренции между представителями и одновременно отношения оркестрирования (или предустановленную гармонию) между представителями и представляемыми. Несомненно Макс Вебер был прав, когда напоминал со святой материалистической грубоватостью, что «можно жить 'для' политики и 'с' политики»[10]. Если подходить совсем строго, скорее, надо было бы сказать, что можно жить «с политики» при условии, что живешь «для политики». Действительно, именно связь между профессионалами определяет особый вид интереса к политике, который заставляет каждую категорию доверенных лиц, посвящающих себя политике, посвящать себя тем самым своим доверителям. Точнее, связь, которую профессиональные продавцы политических услуг (политические деятели, политические журналисты и т. п.) поддерживают со своими сторонниками, всегда опосредована и более или менее полностью детерминирована той связью, которую они поддерживают со своими конкурентами. Профессионалы служат интересам своих сторонников в той (и только в той) мере, в какой они, служа им, служат также и себе, т. е. тем более пунктуально, чем точнее их позиция в структуре политического поля совпадает с позицией их доверителей в структуре социального поля. (Строгость соответствия между двумя пространствами зависит, безусловно, в большой степени от интенсивности конкуренции, т. е. прежде всего от количества партий или фракций, которое детерминирует разнообразие и обновление предлагаемых продуктов, вынуждая, например, различные партии видоизменять их программы для завоевания новых сторонников.) В результате политические выступления, осуществляемые профессионалами, всегда двойственно детерминированы и заражены двуличием, которое не является преднамеренным, поскольку вытекает из дуалистичности указанных полей и необходимости служить одновременно эзотерическим целям внутренней борьбы и экзотерическим целям внешней борьбы[11].

### Система отклонений

Итак, именно структура политического поля, субъективно находящаяся в неразрывной, прямой и всегда декларируемой связи с доверителями, определяет выработку позиций посредством принуждений и интересов, связанных с определенным положением в этом поле. Более конкретно выработка позиций зависит от системы принятых позиций, конкурентно предлагаемых всей совокупностью антагонистических партий, т. е. политической проблематикой, полем стратегических возможностей, объективно предлагаемых на выбор агентам в форме позиций, в действительности занятых, и выработанных позиций, в действительности предлагаемых в поле. Партии, как и течения внутри партий, имеют относительный характер, и напрасны старания определить, чем они являются, что они проповедают без учета того, чем являются и что проповедают внутри одного и того же поля их конкуренты[12].

Наиболее очевидным следствием этой особенности поля является своего рода эзотерическая культура, состоящая из проблем, совершенно чуждых или недоступных для большинства, из концепций и выступлений, не имеющих никакого отношения к опыту обычного гражданина и, в особенности, из различий, нюансов, тонкостей, ухищрений, которые проходят незамеченными для взгляда непосвященных, и сам смысл существования которых как раз- и заключен в отношениях, носящих конфликтный или конкурентный характер между различными организациями, между «тенденциями» или «течениями» внутри одной организации. Можно привести еще одно свидетельство Грамши: «Мы удаляемся от масс: между нами и массой вырастает преграда из разных квивпрокво, недоразумений, сложных словесных игр. Это приведет к тому, что мы станем похожи на тех людей, которые хотят любой ценой сохранить свое место»[13]. В действительности недоступность собственно политической культуры для большинства определяется не столько сложностью ее языка, сколько

сложностью социальных отношений, составляющих политическое поле и в нем находящих свое выражение: это искусственное творение борьбы в Курии представляется не столько непостижимым, сколько лишенным жизненного смысла для тех, кто не будучи включен в игру, «не видит в ней никакого интереса» и кто не может понять, почему то или иное различие между двумя словами или двумя оборотами в основном докладе, программе, платформе, резолюции или постановлении может вызвать такие дискуссии, поскольку они не приобщены к принципу оппозиций, которые вызвали дискуссии, порождающие эти различия[14].

Тот факт, что всякое политическое поле стремится организовать себя вокруг оппозиции между двумя полюсами (которые, как партии в американской системе, могут быть в свою очередь созданы настоящими полями, организованными в соответствии с аналогичными делениями), не должен заслонять того, что обратимые свойства доктрин или групп, занимающих полярные позиции, «партии движения» и «партии порядка», «прогрессистов» и «консерваторов», «левой» и «правой» — суть инварианты, которые полностью раскрываются лишь в связи и через отношения с определенным полем. Именно таким образом свойства партий, регистрируемые реалистическими типологиями, немедленно уясняются, если их соотносить с относительной силой двух полюсов, с расстоянием, которое их разделяет и которое определяет особенности занимающих эти полюса партий и политических деятелей (и в частности, их предрасположенность к дивергенции у крайних точек или конвергенции вблизи центра), а также неразрывно связанную с этим вероятность того, что будет занято центральное, промежуточное положение, нейтральная позиция. Поле в своей совокупности определяется как система отклонений различных уровней, и все в нем — в институциях, в агентах, в действиях или выступлениях, ими производимых — обретает смысл лишь в соотношении, в результате игры противопоставлений и различий. Например, противопоставление «правая» — «левая» может сохраняться и в трансформированной структуре ценной частичного обмена ролями между теми, кто занимал эти позиции в два разных момента времени (или в двух разных местах). Так, рационализм, вера в прогресс и в науку в период между двумя войнами во Франции, как и в Германии, были свойственны левым силам, тогда как националистические и консервативные правые превозносили, скорее, иррационализм и культ природы. Сегодня в этих странах на вере в прогресс, технику и технократию строятся основы нового консервативного кредо, тогда как левые обратились к идеологическим темам или практике, ранее свойственной противоположному полюсу — культу (экологическому) природы, регионализму и некоторому национализму, развенчанию мифа неограниченного прогресса, защите «личности» — при этом все отмечено иррационализмом.

Та же диадическая или триадическая структура, организующая поле в его совокупности, может воспроизводиться в каждой из его точек, т.е. внутри партии или группировки в соответствии с той же двойственной, одновременно внутренней и внешней логикой, устанавливающей зависимость между специфическими интересами профессионалов и реальными или предполагаемыми интересами их реальных или предполагаемых доверителей. Несомненно, эта логика внутренних оппозиций может проявляться более очевидным образом внутри тех партий, доверители которых наиболее обездолены и вследствие этого факта более склонны к самопожертвованию в пользу партии. Таким образом, лучший способ уяснить выработку позиций предоставляет топология позиций, исходя из которых те выражаются: «Что касается России, то я всегда знал, что в топографии фракций и течений Радек, Троцкий и Бухарин занимали левую позицию, Зиновьев, Каменев и Сталин правую, тогда как Ленин был в центре и исполнял функции арбитра во всей многосложности ситуации, выражаясь, естественно, на современном политическом языке. Ядро, называемое ленинским, утверждает, как известно, что эти топологические позиции абсолютно иллюзорны и ложны»[15]. Действительно, все происходит так, как если бы распределение позиций в поле включало в себя распределение ролей; как если бы не только конкурентная борьба с теми, кто занимает самые отдаленные и также самые близкие позиции, очень по-разному угрожающие его существованию, но и логическое противоречие между выработкой позиций подводило или отсылало каждого участника к занятой им позиции[16].

Так, некоторые обратимые противоположности, типа установившейся между анархистской и авторитарной традициями, есть не что иное, как перенос в плоскость идеологической борьбы основного противоречия революционного движения, вынужденного прибегать к дисциплине, авторитету и даже насилию для того, чтобы победить авторитет и насилие. Будучи еретическим отрицанием еретической церкви, революцией против «установленного революционного порядка», «гошистская» критика в ее «спонтанеистской» форме стремится использовать против тех, кто занял господствующее положение в партии, противоречие между «авторитарными» стратегиями внутри партии и «анти-авторитарными» стратегиями партии внутри политического поля в его совокупности.

Та же форма противопоставления прослеживается вплоть до анархистского движения, упрекающего марксизм в авторитаризме[17]: противопоставление между «платформистской» мыслью, которая в стремлении заложить основы мощной анархистской организации, отбрасывает на второй план требование неограниченной свободы индивидов и мелких групп, и «синтезистской» мыслью, которая хочет предоставить индивидам полную независимость[18].

Но и здесь внутренние и внешние конфликты накладываются друг на друга. К примеру, реальные разделения и противоречия рабочего класса могут найти свое соответствие в противоречиях и разделениях рабочих партий только в такой мере, в какой каждое течение склонно апеллировать к соответствующей части своих сторонников посредством гомологии между позициями лидеров в политическом поле и позициями реальных или предполагаемых доверителей в поле народных классов. Так, интересы неорганизованного люмпен-пролетариата имеют шанс быть представленными политически (особенно в случае иностранцев, лишенных права голоса, или стигматизированных этнических групп) только в той мере, в какой эти интересы становятся оружием и ставкой в борьбе, которая при определенных состояниях, политического поля сталкивает спонтанеизм или, в крайнем случае, ультрареволюционный волюнтаризм, всегда склонных отдавать предпочтение наименее организованным фракциям пролетариата, спонтанная деятельность которых предшествует организации и захлестывает ее, и централизм (определяемый противниками как «бюрократически-механистический»), согласно которому организация, т. е. партия предшествует классу и борьбе и их обуславливает[19].

#### Лозунги и форс-идеи[vi]

Тенденция к автономизации и бесконечному членению на мельчайшие антагонистические секты, заложенная в виде объективной потенции в самой структуре корпуса специалистов, имеющих специфические интересы и конкурирующих в борьбе за власть в политическом поле (или в том или ином секторе этого поля, например, в аппарате партии), в различной степени уравнивается тем, что исход внутренней борьбы зависит от тех сил, которые агенты и институции, вовлеченные в борьбу, могут мобилизовать вне поля. Иными словами, тенденция к расколу ограничивается тем фактом, что сила выступления зависит не столько от его самоценностных достоинств, сколько от оказываемого им мобилизующего воздействия, т. е. по крайней мере частично — от степени признания этого выступления многочисленной и мощной группой, которая узнает себя в нем и чьи интересы оно отражает (в более или менее преобразованной и плохо узнаваемой форме).

Простое «идейное течение» становится политическим движением лишь тогда, когда предлагаемые идеи получают признание вне круга профессионалов. Стратегии, которые логика внутренней борьбы навязывает профессионалам и которые могут иметь в качестве объективного обоснования, кроме отстаиваемых различий, различия габитусов и интересов (или, точнее, экономического и образовательного капитала, а также социальной траектории), связанные с различными позициями в поле, могут оказаться успешными лишь в той мере, в какой они сходятся со стратегиями (иногда бессознательными) групп, внешних по отношению к полю (и в этом заключается все различие между утопизмом и реализмом). Таким образом, тенденции к сектантскому расколу постоянно уравниваются необходимостью конкурентной борьбы. Это приводит к тому, что для победы во внутренней борьбе профессионалы должны взывать к силам, которые не целиком и не полностью находятся внутри поля (в отличие от того, что происходит в научном или художественном поле, где обращение к непосвященным дискредитирует).

Группировки авангарда не могут привносить в политическое поле логику, характерную для интеллектуального поля лишь потому, что они лишены базы и, следовательно, принуждений, но также и силы. Эти группировки функционируют в качестве сект, рожденных в результате расщепления и обреченных на размножение делением, следовательно, основанных на отказе от универсальности. За утверждение своего совершенного технического и этического качества, которое определяет ecclesia riga (пуритан), универсум «чистых» и «пуристов», способных демонстрировать собственное превосходство как виртуозных политиков в своей верности самым чистым и самым радикальным традициям («перманентная революция», «диктатура пролетариата» и т. д.), они платят потерей власти и эффективности. И напротив, партия не может позволить себе следовать столь исключительным добродетелям под страхом быть исключенной из политической игры и из-за стремления если не участвовать во власти, то по крайней мере быть способной влиять на ее распределение. Так же, как



Церковь, которая берет на себя миссию распространять благодать институции на всех верных, истинных и неистинных и подчинять всех грешников без разбора дисциплине божественных заповедей, партия ставит своей целью привлечь к своей платформе возможно большее число непокорных (как в случае, когда коммунистическая партия в периоды избирательных кампаний обращается ко «всем прогрессивным республиканцам»), и для того, чтобы расширить базу и привлечь сторонников конкурирующих партий, не колеблясь, поступает «чистотой» своей линии, играя более или менее сознательно на двусмысленностях своей программы. Из этого следует, что среди форм борьбы, местом которой является всякая партия, одна из наиболее постоянных наблюдается там, где сталкиваются те, кто, призывая к возвращению к истокам, отрицает компромисс, необходимый для укрепления силы партии т. е. тех, кто в ней доминирует, но нарушающий ее самобытность, т. е. достигаемый ценой отказа от отличительных, оригинальных, исходных позиций, и, с другой стороны — теми, кто склоняется к поискам путей усиления партии, расширению сторонников, будь то ценой сделок и уступок или же методичного глушения всего того, что в оригинальных позициях партии может быть слишком «исключительным». Первые подталкивают партию к логике интеллектуального поля, которая, доведенная до крайности, может лишит партию всякой ее мирской силы, вторые придерживаются логики Realpolitik, являющейся условием приближения к политической реальности.

Таким образом, политическое поле является местом конкурентной борьбы за власть, которая осуществляется посредством конкуренции за непосвященных или, лучше сказать, за монополию на право говорить и действовать от имени какой-либо части или всей совокупности непосвященных. Официальный представитель присваивает себе не только голос группы непосвященных, т. е. чаще всего — ее молчание, но и саму силу этой группы, производству которой он способствует, наделяя ее голосом, признаваемым в качестве легитимного в политическом поле. В отличие от сферы науки, сила выдвигаемых им идей измеряется не ценностью истины (даже если какой-то частью собственной силы эти идеи обязаны своей способности убеждать, что он обладатель истины), но заключенной в них мобилизующей силой, т. е. силой группы, признающей эти идеи, будь то молчанием или отсутствием опровержения, и которую он может продемонстрировать, получая их голоса или собрав группу в пространстве. Вот в силу чего поле политики — где было бы напрасно искать инстанцию, способную легитимировать инстанции легитимности, и иное основание компетентности, чем хорошо понятый классовый интерес — постоянно колеблется между двумя критериями оценки — наукой и плебисцитом[20].

В политике «говорить» значит «делать», т. е. убеждать, что можно сделать то, о чем говоришь и, в частности, внушать знание и признание принципов видения деления социального мира: лозунги, которые производят собственную верификацию, создавая группы, создают тем самым некий социальный порядок. Политическое слово — и это определяет его сущность — полностью ангажирует своего автора, потому что оно представляет собой обязательство, которое надо выполнять и которое становится истинно политическим только в случае, если исходит от агента или группы агентов политически ответственных, способных ангажировать группу, причем могущую его выполнить. Только при таком условии слово эквивалентно действию. Достоверность обещания или прогноза зависит от правдивости, а также авторитета того, кто их произносит, т. е. от его способности заставить поверить в его правдивость и авторитет. Если допустить, что будущее, о котором спорят, зависит от коллективной воли и действий, то форс-идеи официального представителя, способного вызвать эти действия, неподдельны, поскольку обладают властью делать так, чтобы будущее, о котором они возвещают, стало правдой. (Вот почему для всякой революционной традиции вопрос правды неразрывно связан с вопросом свободы или исторической необходимости: если предположить, что будущее, т. е. политическая правда, зависит от действий политических руководителей и масс — и надо бы еще уточнить, в какой степени, — то тогда права была Роза Люксембург, упрекая Каутского в том, что он, не делая того, что надо было делать по мнению Розы Люксембург, способствовал наступлению того, что было возможным, и того, что он предсказывал; в противном случае неправой оказывается сама Роза Люксембург, поскольку не смогла предвидеть наиболее вероятное будущее).

То, что в устах одного звучало бы «безответственным выступлением», в устах другого — обоснованное предвидение. Политические предложения, программы, обещания, предсказания или прогнозы («Мы победим на выборах») никогда не могут быть проверены или опровергнуты логически. Они достоверны лишь в той мере, в какой высказывающий их (от своего имени или от имени группы) способен сделать их исторически справедливыми, обеспечив их осуществление в истории. Это непосредственно зависит от его природного таланта реально оценить шансы на успех мер по их приведению в действие и его способности мобилизовать силы, необходимые, чтобы в этом преуспеть,

сумев внушить веру в свою собственную правдивость и, следовательно, в свои шансы на успех. Иначе говоря, слово официального выразителя частью своей «собирающей» силы связано с силой (численности) группы, в чьем создании как таковой он участвует через акт символизации, представления; это слово находит свою сущность в том толчке, которым говорящий придает своему высказыванию всю ту силу, производству которой способствует его высказывание, мобилизуя группу, к которой он обращается. Это хорошо видно на примере той столь типично политической логики, по которой строится обещание или, лучше, предсказание: слово, этот настоящий *self-fulfilling prophecy*[vii], посредством которого официальный выразитель придает группе волю, сообщает планы, внушает надежды, короче, оговаривает ее будущее, делает то, о чем говорит, в той мере, в какой адресаты себя в этом слове узнают, сообщая ему символическую, а также материальную силу (в виде отданных голосов, субсидий, взносов, рабочей или военной силы и т. д.), которая и позволяет этому слову исполниться. Для того, чтобы идеи могли стать форс-идеями, способными превращаться в веру или даже в лозунги, способные мобилизовать или демобилизовать, достаточно того, чтобы они были провозглашены политически ответственными лицами. И тогда заблуждения превращаются в ошибки или на профессиональном наречии — в «предательство»[21].

### Кредит доверия и вера

Политический капитал является формой символического капитала, кредитом, основанным на вере и признании, точнее, на бесчисленных кредитных операциях, с помощью которых агенты наделяют человека (или предмет) той самой властью, которую они за ним признают. Это двойственность *fides*[viii], проанализированная Бенвенистом[22]: объективная власть, которая может быть объективирована в предметах (в частности, во всем том, что составляет символику власти: троны, скипетры и короны), сама является результатом субъективных актов признания и, в качестве кредита доверия и кредитоспособности, существует лишь в виде и посредством представления, в виде и посредством верования, послушания. Символическая власть есть власть, которую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто ее осуществляет, своего рода кредит, которым один наделяет другого, *fides*, *auctoritas*, которые один другому вверяет, вкладывая в него свое доверие. Это власть, которая существует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, верит, что она существует. *Credere*[ix] — говорит Бенвенист, «означает буквально вложить *kred*, т. е. волшебное могущество в какое-либо существо, покровительства которого ожидают, так как верят в него»[23]. *Kred*, кредит, харизма, это нечто такое, с помощью чего держат тех, от кого это нечто получили, является тем продуктом *credo*, верования, послушания, который кажется производителем *credo*, верования, послушания.

Подобно божественному или человеческому защитнику, который, согласно Бенвенисту, «нуждаясь в том, чтобы в него верили, чтобы ему вверили *kred* берет на себя обязательство распространять свои благодеяния на тех, кто его таким образом поддерживает»[24], политический деятель черпает свою политическую силу в том доверии, которое группа доверителей в него вкладывает. Его поистине магическое могущество над группой зиждется на представлении, которое он сообщает группе и которое является представлением о самой группе и ее отношениях с другими группами. Будучи доверенным лицом, связанным со своими доверителями своего рода рациональным контрактом (программой), он является также защитником, связанным магической связью идентификации с теми, кто, как говорится «возлагает на него всю свою надежду». И именно потому, что его специфический капитал является в чистом виде доверительной ценностью, которая зависит от представления, мнения, верования, *fides*, политический деятель, как человек чести, особенно уязвим перед подозрениями, клеветой, скандалом, короче, перед всем тем, что угрожает верованию, доверию, делая явными тайные, скрываемые акты и высказывания прошедшего и настоящего, могущие войти в противоречие с нынешними актами и высказываниями и дискредитировать их автора (тем более полно, чем менее, как мы увидим, капитал политического деятеля обязан делегированию)[25]. Этот до крайности неустойчивый капитал может быть сохранен лишь ценой непрерывного труда, который необходим как для накопления кредита, так и для того, чтобы избежать его утраты. Отсюда все предосторожности, умалчивания, утаивания, к которым обязывает общественных деятелей, вечно стоящих перед судом общественного мнения, постоянная забота не сделать и не сказать ничего такого, что могло бы при случае всплыть в памяти противников, и в силу безжалостного принципа необратимости не обнаружить ничего из того, что противоречило бы вчерашним и сегодняшним публичным заявлениям или опровергло бы их постоянство во времени. Особое внимание политических деятелей ко всему тому, что создает представление об их искренности или бескорыстии

объяснимо, если подумать о том, что эти качества предстают как высшая гарантия того представления о социальном мире, которое они стремятся навязать, тех «идеалов» и «идей», внушение которых есть миссия политических деятелей.

## Виды политического капитала

Человек политики, этот «банкир людей в режиме монополии» как Грамши называл профсоюзных функционеров, своим специфическим авторитетом в политическом поле, на профессиональном языке называемом «политическим весом», обязан мобилизующей силе, которой он обладает либо благодаря личным качествам, либо благодаря делегированию ему как доверенному лицу организации (партии, профсоюза), обладающей политическим капиталом, накопленным в ходе прежней борьбы в виде, прежде всего, должностных постов внутри аппарата или вне его, и активистов, приписанных к этим постам. Личный капитал «известности» и «популярности», основанный на факте «быть известным» и «лично признанным» (иметь «имя», «реноме» и т. п.), а также на владении определенным набором специфических качеств, которые являются условием приобретения и сохранения «хорошей репутации», часто бывает результатом реконверсии капитала известности, накопленного в других областях, в частности, в профессиональных, которые, наподобие свободных профессий, предоставляют свободное время и предполагают наличие определенного культурного капитала и — как в случае с адвокатами — профессиональное владение искусством красноречия. В то время, как этот личный капитал нотабля[x] является результатом длительного и непрерывного накопления, продолжающегося обычно всю жизнь, личный капитал, который можно назвать героическим или профетическим и который имеет в виду Макс Вебер, когда говорит о харизме, представляет собой результат акции инаугурации, осуществленной в ситуации кризиса, в пустоте и молчании институций и аппаратов: профетическая акция дарования значимости, которая самообосновывается и самолегитимируется ретроспективно, посредством подтверждения, которое ее собственный успех обеспечивает языку кризиса и начальному накоплению мобилизующей силы, которую этот язык осуществил.

В отличие от личного капитала, который исчезает вместе с человеком — его носителем (впрочем, могущего вызвать споры о наследстве), делегированный капитал политического авторитета является, наподобие капитала священника, преподавателя и шире — функционера, результатом ограниченного и временного переноса (хотя и обновляемого, иногда всю жизнь) капитала, принадлежащего институции и контролируемого ею, и ею одной[26]. В качестве такой институции и выступает партия, которая в процессе развития, благодаря работе своих кадров и активистов, накопила символический капитал признания и преданности и обзавелась в целях и в ходе политической борьбы постоянно действующей организацией с освобожденными работниками, способными мобилизовать активистов, постоянных членов и симпатизирующих, организовать пропаганду, необходимую для получения голосов и тем самым — постов, позволяющих в течение длительного времени поддерживать и содержать освобожденных работников. Этот мобилизационный аппарат, который отличает партию или профсоюз как от аристократического клуба, так и от группы интеллектуалов, держится одновременно на объективных структурах, таких как собственно бюрократическая организация, посты со всеми соответствующими привилегиями внутри нее самой или в государственной администрации, традиции рекрутирования, подготовки, селекции и т. д., которые ее характеризуют, и на диспозициях, будь то верность партии или усвоенные принципы видения разделения социального мира, которыми руководители, освобожденные работники или активисты руководствуются в своей повседневной практике в собственно политической деятельности.

Приобретение делегированного капитала подчиняется очень специфической логике: инвестируемая, этот чисто магический акт институирования, посредством которого партия официально выдвигает официальную кандидатуру на выборы и который означает передачу политического капитала (наподобие того, как средневековая инвестируемая торжественно отмечала «традицию» — наследование лена или какой-либо недвижимости), может быть лишь компенсацией длительного инвестирования времени, работы, преданности, самоотверженности во имя институции. Неслучайно так часто церкви, как и партии, выдвигают в свое руководство облатов[xi].

Закон, который регулирует обмен между агентами и институциями может быть выражен следующим образом: институция дает все, начиная с власти над институцией, тем, кто отдал ей все. Но поскольку эти последние ничего из себя не представляли без институции или вне ее, они не могут отречься от

институции, не отрекаясь и от самих себя, ибо полностью лишаются всего того, чем являются благодаря институции и для нее, которой они обязаны всем. Короче, институция инвестирует тех, кто инвестировал ее: инвестирование выражается не только в оказываемых услугах, зачастую тем более дефицитных и ценных, чем дороже они обходятся психологически (как все «испытания» инициации), и не только в повиновении указаниям или полном соответствии требованиям институции, но и в виде психологических вложений. Это приводит к тому, что факт исключения, будучи отлучением от властного капитала институции, часто превращается в настоящий крах, банкротство, социально и психологически одновременно (оно тем более сокрушительно, что сопровождается, так же, как предание анафеме или отлучение от священного жертвоприношения, «суровым общественным бойкотом» «в виде отказа поддерживать всяческие отношения с исключенным»)[27]. Тот, в кого инвестирован функциональный капитал, эквивалентный «институциональной благодати» или «функциональной харизме» священнослужителя, может не иметь никакой другой «квалификации», кроме той, которая присуждается ему институцией посредством самого акта инвеституры. Институция же держит под контролем приобретение личной популярности, регулируя, например, доступ к наиболее видным позициям (позиция генерального секретаря или официального представителя), или к рекламе, чем являются сегодня телевидение или пресс-конференция), хотя держатель делегированного капитала всегда может приобрести личный капитал путем тонкой стратегии, заняв по отношению к институции позицию максимального дистанцирования, совместимую с поддержанием принадлежности и сохранением соответствующих преимуществ. Из этого следует, что избранник аппарата зависит от аппарата по меньшей мере в той же степени, что и от своих избирателей, которыми он обязан аппарату и которых он теряет в случае разрыва с ним. Из этого вытекает также, что по мере того, как политика «профессионализируется» и партии «бюрократизируются», борьба за политическую мобилизационную власть все более превращается в двухступенчатое соревнование: от исхода конкурентной борьбы за власть над аппаратом, которая разворачивается внутри аппарата исключительно между профессионалами, зависит выбор тех, кто сможет вступить в борьбу за завоевание простых мирян; это подтверждает еще раз, что борьба за монополию на выработку и распространение принципов видения деления социального мира все более отдается на откуп профессионалам и большим объединениям по производству и распространению, фактически исключая мелких независимых производителей («свободных интеллектуалов» в первую очередь).

#### Институционализация политического капитала

Делегирование политического капитала предполагает объективацию этого типа капитала в постоянных институциях, его материализацию в политических «машинах», постах и средствах мобилизации, а также его непрерывное воспроизводство посредством механизмов и стратегий. Таким образом, делегирование является фактом политических предприятий, уже имеющих свою историю, в ходе которой был накоплен значительный объективированный политический капитал в виде постов внутри самой партии, во всех организациях, более или менее подчиненных партии, а также во всех учреждениях местной или центральной власти и во всей сети промышленных и торговых предприятий, существующей в симбиозе с этими учреждениями. Объективация политического капитала обеспечивает относительную независимость по отношению к электоральному санкционированию, заменяя прямое доминирование над людьми и стратегию личного инвестирования («платить за себя») опосредованным доминированием, которое позволяет длительное время содержать держателей постов, удерживая посты[28]. Понятно, что новому определению позиций соответствуют новые характеристики в установках тех, кто их занимает: действительно, чем больше политический капитал институционализируется в виде наличных постов, тем выгоднее стать членом аппарата, в отличие от того, что происходит на начальных этапах или во времена кризиса, например, в революционный период, когда риск велик, а выгоды урезаны. Этот процесс, который часто называют расплывчатым словом «бюрократизация» легче понять, если видеть, как по мере развития жизненного цикла политического предприятия воздействие, которое предложение стабильных должностей партийных функционеров оказывает на рекрутирование, начинает усиливать часто наблюдаемый эффект, производимый доступностью позиций функционеров (и относительных привилегий, которые они обеспечивают для активистов — выходцев из рабочего класса). Чем дальше развивается процесс институционализации политического капитала, тем больше борьба за «умы» уступает место борьбе за «посты» и все больше активисты, объединенные единственно верностью «делу», отступают перед «держателями доходных должностей», «прихлебателями», как Вебер называл тип сторонников, в течение длительного времени связанных с аппаратом, доходами и привилегиями, которые тот им предоставлял, и приверженных аппарату постольку, поскольку тот их удерживает, перераспределяя в

их пользу часть материальных и символических трофеев, благодаря им завоеванных (например, spoils[xii] американских партий). Иными словами, по мере того, как развивается процесс институционализации и возрастает мобилизационный аппарат, на практике и в настроениях беспрерывно усиливается весомость императивов, связанных с воспроизводством аппарата и предлагаемых им постов, привязывающая к себе тех, кто их занимает, всякого рода материальными и символическими интересами, в ущерб императивам стремления к достижению целей, провозглашенных аппаратом. Становится понятно, что партии могут таким образом подводиться к тому, чтобы жертвовать своей программой ради удержания власти или просто выживания.

## Поля и аппараты

Если не существует такого политического предприятия, которое, каким монолитным оно бы ни казалось, не было бы местом столкновений различных тенденций и противоречивых интересов, то все же партии тем сильнее проявляют склонность функционировать в соответствии с логикой аппарата, способного незамедлительно отвечать на стратегические требования, вписанные в логику политического поля, чем больше их доверители обделены культурно и привержены ценностям преданности и, следовательно, более склонны к безусловному и долгосрочному делегированию: чем дольше они существуют и чем они богаче объективированным политическим капиталом и, следовательно, чем жестче их стратегии определяются заботой о «защите завоеваний», чем более тщательно они подготовлены к борьбе, т. е. организованы по военной модели мобилизационного аппарата, чем более их кадры и постоянные члены обделены культурным и экономическим капиталом и, следовательно, находятся в более полной зависимости от партии.

Сочетание меж- и внутр поколенной преданности, обеспечиваемой партиями относительно стабильной клиентурой, лишаящей электоральное санкционирование большей части его эффективности, с принципом *fides implicita*, выводящим руководителя из-под контроля непосвященных, парадоксальным образом приводит к тому, что нет политических предприятий, которые были бы более независимыми от давления и от контроля спросом, более свободными в следовании исключительно логике конкурентной борьбы между профессионалами (иногда ценой самых неожиданных и парадоксальных поворотов на сто восемьдесят градусов), чем партии, которые громче других выступают в защиту народных масс[29]. И это тем сильнее, чем более они склонны следовать большевистской догме, согласно которой вовлечение непосвященных во внутрпартийную борьбу, обращение к ним, или: просто огласка внутренних разногласий считается чем-то противозаконным.

Точно также сильнее всего зависят от партии те освобожденные работники, чья профессия не позволяет участвовать в политической жизни иначе, чем жертвуя временем или деньгами. В этом случае только от партии они могут получить то свободное время, которое нотаблям дают их доходы, или тот способ, благодаря которому они это свободное время имеют, т. е. не работая или работая время от времени[30]. Их зависимость тем полнее, чем меньше был объем культурного и экономического капитала, которым они обладали до вступления в партию. Понятно, что освобожденные работники — выходцы из рабочего класса, чувствуют себя полностью обязанными партии не только своим положением, которое освободило их от рабской зависимости, характерной для их прежнего статуса, но и культурой, одним словом, всем тем, что составляет их нынешнее существование: «Тот, кто живет жизнью такой партии как наша, все время повышает свой уровень. Я начал свой путь, имея за плечами начальное образование, а партия заставила меня учиться. Нужно работать, рыться в книгах, читать, нужно влезать в это дело... Обязательно! Иначе... я так бы и остался ослом, каким был 50 лет назад! Я говорю: 'Активист всем обязан своей партии'»[31]. Понятно также, что, как установил Дэни Лакорн, «дух партии», «партийная гордость» сильнее выражены среди освобожденных работников коммунистической партии, чем среди освобожденных работников социалистической партии, которые, будучи чаще всего, выходцами из средних и высших классов и, в частности, из преподавательской среды, в меньшей степени зависят от партии.

Очевидно, что дисциплина и выучка; так часто переоцениваемые аналитиками, не имели бы никакой силы, если бы не находили подкрепления в диспозициях вынужденного или избирательного подчинения, которые приносят в аппарат агенты и которые сами постоянно укрепляются в результате встречи со сходными диспозициями и интересами, вписанными в аппаратные должности. Не вдаваясь в различия, можно сказать, что некоторые габитусы находят в логике аппарата условия для своего осуществления и даже расцвета, и наоборот, логика аппарата «использует» в свою пользу тенденции,

вписанные в габитус. С одной стороны, можно было бы указать на общие для всех тотальных институций методы, посредством которых аппарат или те, кто доминирует в нем, навязывают дисциплину и способствуют появлению еретиков и диссидентов, или механизмов, которые, вкупе с теми, интересы которых они обслуживают, стремятся обеспечить воспроизводство институций и их иерархии. С другой стороны, невозможно перечислить и проанализировать всевозможные предрасположенности, которые служат пружинами и колесами милитаристской механизации. Это может быть отношение зависимости от культуры, которое предрасполагает освобожденных работников — выходцев из рабочего класса к своего рода антиинтеллектуализму, служащему оправданием или алиби своеобразному спонтанному ждановизму и увриеристскому корпоративизму, или озлобление, которое находит свой выход в сталинистском (в историческом смысле), т. е. полицейском восприятии «фракций» и в склонности осмысливать историю в логике заговора; это может быть также чувство вины, которое, будучи вписанным в шаткое положение интеллектуала, достигает своей максимальной интенсивности у интеллектуала — выходца из доминируемых классов, перебежчика, часто сына перебежчика, замечательно описанного Сартром в предисловии к «Aden Arabie». Невозможно понять некоторые экстраординарные «успехи» аппаратного манипулирования, если не видеть, до какой степени эти предрасположенности объективно дирижируются, когда, допустим, различные формы «мизерабилизма», предрасполагающего интеллектуалов к увриеризму, приспособляющемуся, например, к спонтанному ждановизму, способствуют установлению таких социальных отношений, в которых преследуемый становится сообщником преследователя.

В результате организационная модель большевистского типа, утвердившаяся в большинстве коммунистических партий, позволяет осуществить вплоть до самых отдаленных последствий тенденции, заложенные в отношения между народными классами и партиями. Являясь аппаратом (или тотальной институцией), обустроенным для реальной или воображаемой борьбы и базирующимся на дисциплине, которая позволяет приводить в действие всю совокупность агентов (здесь — активистов) «как одного человека» во имя общей цели, коммунистическая партия находит условия для своего функционирования в перманентной борьбе, местом которой является политическое поле и которую можно ускорять или интенсифицировать волевым порядком. Действительно, поскольку дисциплина, которая, как замечает Вебер, «обеспечивает рациональное единообразие подчинения множества людей»[32], находит свое оправдание, если не обоснование, в борьбе, достаточно призвать к реальной или потенциальной борьбе, и даже более или менее искусственно ее оживить для того, чтобы восстановить легитимность дисциплины[33]. В результате, если не совсем буквально цитировать Вебера, ситуация борьбы укрепляет позиции доминирующих внутри аппарата борьбы и, отстраняя активистов от роли трибунов, уполномоченных выражать волю базы, как они могут, порой того требовать, ссылаясь на официальное определение своих функций, низводит их к функции простых «кадров», которым вменяется обеспечивать, исполнение приказов и призывов центрального руководства, и которых «компетентные товарищи» обрекают на «ратификационную демократию»[34]. Лучше всего логику этой боевой организации иллюстрирует прием, выраженный в вопросе «Кто против?» как его описал Бухарин: созываются члены организации, объясняет Бухарин, и им задается вопрос: «Кто против?». Поскольку все более или менее боятся быть против, апробированный товарищ назначается секретарем, предлагаемая резолюция принимается — и всегда единогласно. Процесс, называемый «милитаризацией» заключается в факте своего фундирования «военной» ситуацией, с которой столкнулась организация и которая может быть произведена посредством работы над представлением этой ситуации с тем, чтобы постоянно производить и воспроизводить страх быть против, это высшее обоснование всякой дисциплины, воинствующей или воинской. Если бы антикоммунизм не существовал, «военный коммунизм» не преминул бы его выдумать. Всякая внутренняя оппозиция обречена представать как сговор с врагом, она усиливает милитаризацию, с которой сражается, укрепляя единство осажденных «наших», которое предрасполагает к воинской подчиненности: историческая динамика поля борьбы между правоверными и еретиками, теми, кто «за», и теми, кто «против», уступает место механизму аппарата, который ликвидирует всякую практическую возможность быть против, полусознательно используя психосоматические эффекты экзальтации, единодушия в одобрении или в осуждении или, наоборот, страха перед исключением и отлучением, что превращает «дух партии» в настоящий дух корпорации.

Таким образом, двойственность политической борьбы, этого сражения за «идеи» и «идеалы», которое неизбежно является и борьбой за власть, и — хотим мы этого или нет — за привилегии, заложена в самой основе противоречия, которое пронизывает все политические учреждения, нацеленные на ниспровержение установленного порядка: все потребности, довлеющие над социальным миром, способствуют тому, что функция мобилизации, апеллирующая к механической логике аппарата,

стремится опередить функцию выражения и представления, за которую ратуют все профессиональные идеологии аппаратчиков (будь то идеология «органического интеллектуала», или концепция партии как «повивальной бабки» класса...) и которая может быть реально обеспечена лишь диалектической логикой поля. Результатом «революции сверху» — плана, разрабатываемого и осуществляемого аппаратом, становится разрыв этой диалектики, которая есть сама история. Вначале этот разрыв происходит в политическом поле — поле борьбы за поле борьбы и за легитимное представление этой борьбы, а затем — внутри самого политического предприятия, партии, профсоюза, ассоциации, которые могут функционировать как «один человек», лишь жертвуя интересами какой-либо части, если не всей совокупности своих доверителей.

[i] Жорж (Haupt, Georges), 1928-1978. Историк, социолог, учился в Ленинграде и Париже, преподавал в США, был руководителем семинара в Высшей школе социальных наук в Париже; основатель и директор Социалистической библиотеки, руководитель ее коллекции — Прим. перев.

[ii] Доверитель — доверенное лицо (*mandant — mandataire*), лица, связанные друг с другом посредством мандата (от *mandatum* (лат.) — поручение), т.е. контракта, с помощью которого человек, называемый доверителем, дает другому человеку, называемому доверенным лицом, полномочия действовать от его имени. В статье эти юридические термины используются применительно к политически пассивным (доверители) и политически активным (доверенные лица) агентам. — Прим. перев.

[iii] участник дебатов, спорщик (англ.).

[iv] вовлеченность (англ.).

[v] обязательство (англ.).

[vi] Форс-идея — *idée-force* (филос.) — идея-сила. Термин, используемый Альфредом Фуйе для обозначения психологических феноменов в их двойном аспекте интеллектуального и активного. — Прим. перев.

[vii] самоосуществляющееся пророчество (англ.).

[viii] вера (лат.).

[ix] верить (лат.).

[x] знатное, влиятельное лицо, именитый житель, гражданин (фр.).

[xi] Облат — мирянин, пожертвовавший свое имущество монастырю и живущий в нем, не принимая монашеского обета. Здесь — пришлые люди, изгои, парии. — Прим. перев.

[xii] распределение государственных должностей среди сторонников победившей партии (англ.).

[1] Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. II. Berlin, Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1956. P. 1067.

[2] См., в частности: Bourdieu P. *La distinction*. Paris: Minuit, 1979. P. 466-542.

[3] Это предполагает, что разделение политического труда меняется в зависимости от общего объема экономического и культурного капитала, накопленного определенной социальной формацией (от ее «уровня развития»), а также от более или менее асимметричной структуры распределения этого капитала, культурного, в частности. Так, в основе распространения всеобщего среднего образования лежит целый комплекс изменений отношений между партиями и- их активистами, или их избирателями.

[4] Wittgenstein L. *Philosophical Investigations*. New York: Macmillan, 1953. §337. P. 108.

[5] Отношение между профессионалами и непосвященными у доминирующих принимает совершенно другие формы: в большинстве случаев они способны самостоятельно производить свои акции и вырабатывать политические взгляды и поэтому не без сопротивления и с двойственным чувством примиряются с делегированием (навязываемым специфической логикой легитимности, которая, будучи основанной на незнании, осуждает попытки к самоосвящению).

[6] Конечно, этой эволюции в определенной степени противостоит общее повышение уровня образования, которое (учитывая решающую роль школьного капитала в системе факторов, объясняющих различия в отношении к политике), по своей природе безусловно вступает в противоречие с данной тенденцией и усиливает, на различных уровнях в зависимости от аппаратов, давление базы, менее склонной к безусловному делегированию.

[7] Телевизионные дебаты, которые сталкивают профессионалов, отобранных в зависимости от специфики их компетентности, а также от знания ими правил политического приличия и респектабельного поведения в присутствии публики, сведенной до положения зрителя, представляют борьбу классов в форме театрализованного и ритуализированного столкновения двух поверенных лиц, что прекрасно иллюстрирует результат процесса атомизации чисто политической игры, более чем когда-либо замкнутой на своих приемах, иерархиях и внутренних правилах.

[8] О логике борьбы за власть над принципом разделения см.: Bourdieu P. *L'identité et la représentation*//*Actes de la recherche en sciences sociales*. 35. Nov. 1980. P. 63-72.

[9] Доказательством служат различия, связанные с историей и логикой, присущей каждому национальному политическому полю. Такие различия обнаруживаются между представлениями, которые дают организации, «представляющие» социальные классы, находящиеся в сходном положении (например, рабочие классы европейских стран), об интересах этих классов, невзирая на все эффекты гомогенизации (типа «большевизации» коммунистических партий).

[10] Weber M. *Op. cit.* P. 1052.

[11] Парадигматическую форму этой структурной двусмысленности представляет, без сомнения, то, что в революционной традиции СССР называется «эзопов язык», т. е. секретный, закодированный, условный язык, к которому прибегали революционеры, чтобы обойти царскую цензуру, и который появляется вновь в большевистской партии в связи с конфликтом, возникшим между сторонниками Сталина и сторонниками Бухарина, т. е. когда встает вопрос о том, чтобы во имя «партийного патриотизма» конфликты внутри Политбюро и Центрального Комитета не просочились наружу. Этот язык при его внешней безобидности маскирует скрытую правду, которую «всякий, достаточно грамотный активист» умеет расшифровать, и дает возможность двух различных прочтений в зависимости от адресата. (Cohen S. *Nicolas Boukharine, la vie d'un bolchevik*. Paris: Maspéro, 1979. P. 330, 435. В русском переводе: Коэн. С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938. М: Прогресс, 1988. С. 338.)

[12] Отсюда — неудача всех тех, кто, как многие историки Германии вслед за Розенбергом, пытались дать абсолютное определение консерватизму, не видя, что это понятие должно непрерывно менять свое субстанциональное значение для сохранения своей относительной ценности.

[13] Gramsci A *Ecrits politiques* T. II P 225.

[14] Среди факторов этого эффекта закрытости и очень специфической формы эзотеризма, которую он вызывает, следует учитывать часто наблюдаемую склонность освобожденных работников политических аппаратов общаться лишь с другими освобожденными работниками.

[15] Gramsci A. *Op. cit.* P. 258. Выделено П. Бурдьё.

[16] Не учитывая того, чем понятия обязаны истории, мы лишаемся единственной реальной возможности вычленив их из истории. Являясь орудием анализа и одновременно анафемы, инструментами познания и одновременно инструментами власти, все эти «измы», которые



марксистская традиция увековечивает, интерпретируя их как чисто концептуальные конструкции, свободные от всякого контекста и лишенные всякой стратегической функции, «нередко бывают связаны с определенными обстоятельствами, искажены преждевременными обобщениями, на них лежит печать жесткой полемики» и они рождаются в «разногласиях, в резких столкновениях представителей различных течений». (Haupt G. «Les marxistes face à la question nationale: l'histoire du problème» // Haupt G., Lawy M., Weill C. Les marxistes et la question nationale, 1848-1914. Paris: Maspero, 1974. P. II).

[17] Известно, что Бакунин, требовавший полного подчинения руководящим органам в созданных им движениях (например, «Национальное братство») и бывший в глубине души сторонником «бланкистской» идеи «активных меньшинств», ходом полемики с Марксом был приведен к отрицанию авторитаризма, экзальтации спонтанности масс и автономии федераций.

[18] Maitron J. Le mouvement anarchiste en France. Paris: Maspero, 1975. P. 82-83.

[19] Более или менее центральная и господствующая позиция в аппарате партии и наличествующий культурный капитал в принципе представляют собой два различных и даже противоположных взгляда на революционную практику, на будущее капитализма, на связь партии и масс и т. д., которые сталкиваются между собой в рабочем движении. Очевидно, например, что экономизм и склонность подчеркивать детерминистскую, объективную и научную стороны марксизма свойственны больше «ученым» и «теоретикам» (таким как, например, Туган-Барановский или «экономисты» в социал-демократической партии), чем «активистам» или «агитаторам», особенно, если в области теории или экономики они самоучки (несомненно, это является одним из оснований разногласий между Марксом и Бакуниным). Схожим образом варьируется противоположность между централизмом и спонтаннизмом или, если угодно, авторитарным социализмом и анархистским социализмом, т.к. естественная тяга к сциентизму и экономизму способствует тому, что право на авторитарное определение ориентации вверяется держателям знания (эти оппозиции, пронизывающие всю биографию Маркса, по мере его старения резко сдвигаются в пользу «учености»).

[20] Неслучайно опрос общественного мнения выявляет противоречия между двумя антагонистическими принципами легитимации — технократической наукой и демократической волей, чередуя вопросы, которые апеллируют то к экспертной оценке, то к мнению активиста.

[21] Неистовость политической полемики и постоянное обращение к этике, которая пользуется чаще всего аргументами *ad hominem*» (применительно к человеку (лат.)) объясняется также и тем, что форс-идеи частью своего кредита обязаны доверию, которым владеет человек, их проповедующий. Поэтому речь идет не только о том, чтобы опровергнуть эти, идеи чисто логическими и научными аргументами, но и о том, чтобы дискредитировать их, дискредитируя автора. Выдавая лицензию поражать не только идеи, но и саму личность противника, логика политического поля чрезвычайно благоприятствует стратегии озлобленности: она предоставляет в распоряжение первого встречного возможность постичь, чаще всего в рудиментарной форме социологии знания, теории и идеи, которые он не способен подвергнуть научной критике.

[22] Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. T. 1. Paris: Minuit, 1969. P. 115-121.

[23] Ibid. P. 121

[24] Ibid P. 177.

[25] Крайняя осторожность, характеризующая состоявшегося политика и выражающаяся, в частности, в высокой степени эвфемизации его языка, объясняется без сомнения чрезвычайной уязвимостью политического капитала, который превращает ремесло политического деятеля в профессию с высокой степенью риска, особенно в кризисные периоды, когда, как в случаях с Де Голлем и Петеном, незначительные различия в использованных диспозициях и ценностях могут стать основой совершенно исключительного выбора (поскольку свойство экстраординарной ситуации навязывать систему классификации, организованной вокруг одного критерия, исключает возможность компромисса, двусмысленности, двойной игры, множественности позиций и т. п., тогда как в обычной ситуации знания и одновременно инструментами власти, все эти «измы», которые марксистская традиция увековечивает, интерпретируя их как чисто концептуальные конструкции, свободные от

всякого контекста и лишены всякой стратегической функции, «нередко бывают связаны с определенными обстоятельствами, искажены преждевременными обобщениями, на них лежит печать жесткой полемики» и они рождаются в «разногласиях, в резких столкновениях представителей различных течений». (Haupt G. «Les marxistes face a la question nationale: l'histoire du problems»// Haupt G., Lowy M., Weill C. Les marxistes et la question nationale, 1848-1914. Paris: Maspero, 1974. P. IT).

[26] При всем том, политическая миссия Даже здесь отличается от простой бюрократической функции тем, что она всегда остается, как мы видели, личной миссией, которая захватывает человека целиком.

[27] Weber M. Op. cit. P. 880, а также P. 916.

[28] Этот анализ применим также и к Церкви: по мере того, как политический капитал Церкви объективируется в институтах и, как это происходит в последнее время, в постах, контролируемых Церковью (в образовании, прессе, молодежном движении и т. п.), власть ее все менее и менее опирается на внушение ее догматов и «спасение душ»; гораздо лучше власть Церкви измеряется числом должностей и агентов, опосредованно ею контролируемых.

[29] Следует помнить, какое значительное место народная система ценностей отводит таким добродетелям как целостность, («отдаться полностью», «отдать всего себя целиком» и т. п.), верность данному слову, лояльность по отношению к своим, верность самому себе («я таков, каков есть», «ничто меня не изменит» и т. п.) и другим диспозициям, которые в иных универсумах могут выглядеть как негибкость или даже глупость. С учетом этого можно понять, что приверженность первоначальному выбору, которая превращает политическую принадлежность в почти наследуемое свойство, способное выстоять даже несмотря на меж- и внутрисекторные изменения в социальном положении, с особой силой проявляется в народных классах, чем и пользуются левые партии.

[30] Несмотря на наличие инвариантных черт, противоречие между освобожденными работниками и простыми членами партии (или, тем более, теми, кто голосует за нее периодически) в разных партиях приобретает различный смысл. Это зависит от распределения капитала и, особенно, свободного времени между классами. (Известно, что если прямая демократия допускает экономическую и социальную дифференциацию, то потому, что благодаря ей, в результате неравного распределения свободного времени, административные нагрузки концентрируются преимущественно в руках тех, кто располагает временем, необходимым для выполнения этих функций бесплатно или за небольшую плату.) Этот простой принцип может также служить объяснением дифференцированного участия различных профессий (или даже различных статусов внутри одной профессии) в политической или профсоюзной жизни и — шире — во всякой полуполитической ответственной работе. Так, Макс Вебер отмечает, что директора крупных медицинских или естественнонаучных учреждений не испытывают особой склонности к ректорской работе и плохо с ней справляются (Weber M. Op. cit. II. P. 698), а Роберт Михельс указывает, что ученые, которые принимали активное участие в политической жизни, обнаруживали, что их научные способности медленно, но неуклонно снижались (Michels R. Les partis politiques. Paris: Flammarion, 1971. P. 155). К этому следует добавить, что аристократическое или профетическое презрение к временным выгодам, которые обещают или обеспечивают эти виды деятельности, очень часто подкрепляется социальным положением, подтверждающим и мотивирующим нежелание отдавать свое время политической или административной работе. Все это позволяет лучше понять некоторые структурные инварианты отношений между интеллектуалами аппарата (политического, административного и др.) и «свободными» интеллектуалами, между теологами и епископами или между исследователями и деканами, ректорами и научными руководителями и т. д.

[31] Lacorne D. Op. cit. P. 114.

[32] Weber M. Op. cit. P. 867.

[33] Роберт Михельс, который отмечает тесную связь между организацией «боевой демократической партии», военной организацией и многочисленными заимствованиями социалистической терминологией (особенно в работах Энгельса и Бебеля) военной лексики, подчеркивает, что руководители, которые, как напоминает Р. Михельс, тесно связаны с дисциплиной и централизацией (Michels R. Op. cit. P. 129, 144) не упускают возможности обращаться к магической формуле общего интереса и к «аргументам военного характера» всякий раз, когда их положение оказывается под

угрозой: «Подчеркивается, в частности, что члены партии ни при каких обстоятельствах не должны отказываться в доверии руководителям, которых они сами свободно поставили над собой, даже если это диктуется причинами тактического порядка или необходимостью сохранить единство перед лицом врага» (Michels R. Op. cit. P. 163). Но только при Сталине стратегия милитаризации, которая, как отмечает Стивен Коэн, является единственным оригинальным вкладом Сталина в большевистскую мысль, и, следовательно, основной характеристикой сталинизма, находит свое полное воплощение: сферы, куда вторгается партия, получают название «фронтов» (фронт уборки урожая, фронт философии, фронт литературы и т. д.); цели и проблемы — это «крепости», которые «теоретические отряды» должны «взять штурмом» и т. д. Эта «военная» доктрина носит безусловно манихейский характер, поскольку восхваляет одну группу, одно идейное направление или концепцию, ставшую ортодоксальной, для того, чтобы полнее уничтожить все другие (см.: Cohen S Op. cit. P 367-368, 388. В русском переводе. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938. М: Прогресс, 1988. С. 378-379, 399).

[34] Таким образом, борьба внутри коммунистической партии против авторитаризма руководителей и их приоритетного внимания к интересам аппарата в ущерб интересам доверителей лишь усиливает тенденции, против которых ведется. Действительно, руководителям достаточно призвать к политической борьбе, в частности, против самых непосредственных конкурентов, чтобы оправдать призыв к дисциплине, т.е. к подчинению руководителям, обязательному в период борьбы. В этом смысле разоблачение антикоммунизма является абсолютным оружием в руках тех, кто командует в аппарате, поскольку оно дисквалифицирует всякую критику и даже объективацию и навязывает единство в борьбе против внешнего окружения.

Пьер Бурдьё

#### ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕТИШИЗМ[i]

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Ю.М. Ледовских/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — 336 с.)

«Аристократы интеллигенции полагают, что есть истины, о которых не следует говорить народу. Я же, социалист революционер, заклятый враг всяческой аристократии и опеки, думаю, напротив, что с народом нужно говорить обо всем. Другого средства дать ему полную свободу — нет».

М.Бакунин

Делегирование, с помощью которого одно лицо предоставляет, так сказать, свои полномочия другому лицу, передача полномочий, в результате которой доверитель разрешает своему доверенному лицу подписывать документы, говорить и действовать от своего имени, вручает ему свою доверенность, т. е. *plena potentia agendi* (полномочие действовать, вместо себя), — это сложный акт, заслуживающий серьезного осмысления. Полномочный представитель, министр, доверенное лицо, делегат, уполномоченный, депутат, парламентарий — все это лица, располагающие мандатом, поручением или доверенностью представлять (слово крайне полисемичное), т. е. выражать и отстаивать интересы определенного лица или группы.

Но если делегирование действительно означает передачу кому-либо той или иной функции или поручения путем предоставления полномочий, то следует задаться вопросом: как получается, что доверенное лицо вдруг обретает власть над передавшим ему свои полномочия? Когда акт делегирования осуществляется одним лицом в пользу другого, то все относительно ясно. Но когда

одно лицо получает полномочия от множества лиц, оно может оказаться облеченным полномочиями, трансцендентными по отношению к каждому из доверителей. Тем самым оно становится как бы воплощением того, что последователи Дюркгейма нередко называли трансцендентностью социального.

Но и это еще не все, и отношение делегирования рискует затемнить истинный смысл отношения представительства, а также парадокс ситуации, когда группа не может существовать иначе, как делегируя свои полномочия какому-либо одному лицу — генеральному секретарю, папе и т. д., — способному действовать как юридическое лицо, т. е. как субститут группы. Во всех этих случаях, согласно установленному канониками уравнению: Церковь — это папа, — по внешней видимости группа продуцирует человека, выступающего вместо нее и от ее имени (если мыслить в терминах делегирования), тогда как в действительности было бы почти так же правомерно говорить, что представитель группы продуцирует группу. Ибо именно потому, что представитель существует и представляет (акт символический), представляемая и символизируемая им группа существует и в свою очередь обеспечивает своему представителю существование в качестве представителя группы.

В этом замкнутом круговом отношении легко увидеть корни иллюзии, в силу которой в предельном случае представитель может восприниматься другими и сам воспринимать себя в качестве *causa sui*, т. е. он сам является причиной того, что составляет его власть. Ведь группа, инвестирующая его полномочия, не существовала бы или во всяком случае существовала бы не в полной мере в качестве представляемой группы, не будь он ее воплощением.

Этот изначально круговой характер представительства основательно затемнен: он подменен массой вопросов, наиболее распространенный из которых — вопрос сознательности. Затемнен был и вопрос о политическом фетишизме, равно как и процесс, в результате которого индивиды конституируются (или оказываются конституированными) в группу, утрачивая при этом контроль над группой, в рамках и благодаря которой они конституируются. Существует своего рода антиномия, внутренне присущая политическому и связанная с тем, что индивиды — тем в большей степени, чем более они обездолены, — не могут конституироваться (или быть конституированными) в группу, т. е. в силу, способную заявить о себе, высказываться и быть услышанной, иначе, как отказавшись от своих прав в пользу того или другого представителя. Нужно постоянно идти на риск политического отчуждения для того, чтобы его избежать.

(В действительности подобная антиномия существует реально только для доминируемых. Упрощая, можно было бы сказать, что доминирующие существуют всегда, тогда как доминируемые существуют лишь тогда, когда мобилизуются или располагают инструментами представительства. За исключением, пожалуй, периодов реставрации, наступающих вслед за крупными кризисами, доминирующие всегда заинтересованы в свободе действий (*laissez-faire*), в независимых и изолированных действиях агентов, которым достаточно сохранять рассудительность, чтобы оставаться рациональными и воспроизводить установившийся порядок.)

Именно действие механизма делегирования, будучи игнорируемым и оставленным без внимания оказывается первопричиной политического отчуждения. Доверенные лица — государственные министры и служители культа являются, согласно высказыванию К. Маркса по поводу фетишизма, теми «продуктами человеческого мозга, которые появляются как бы одаренными собственной жизнью»[1].

В роли политических фетишей выступают люди, вещи, живые существа, которые кажутся как бы обязанными лишь самим себе существованием, полученным от социальных агентов. А доверители обожают свои собственные создания. Политическое идолопоклонство как раз и заключается в том, что ценность, которой наделяется определенный политический деятель — этот продукт человеческого мозга — выступает как объективное свойство личности, как обаяние, харизма, *ministerium* предстает как *mysterium*.

Здесь я мог бы сослаться на Маркса, разумеется, *cum grano salis*[ii], т. е. его анализ фетишизма — что вполне понятно — конечно, не относился к политическому фетишизму. В том же знаменитом отрывке Маркс писал: «У стоимости не написано на лбу, что она такое»[2]. По существу — это определение харизмы, такого вида власти, которая как бы является своей первопричиной. Харизма, по определению М. Вебера, есть нечто такое, что само выступает в качестве своей собственной основы:

дар, благодать, манна и т. д.

Итак, делегирование есть акт, с помощью которого группа образует самое себя, обретая совокупность присущих группам элементов, а именно: постоянное помещение, освобожденных работников, бюро, понимаемое в самых различных смыслах и прежде всего в смысле бюрократической формы организации с печатью, штампами, подписями, передачей права подписи, штемпелями и т. п. (например, Политбюро). Группа существует, когда располагает постоянным представительным органом, наделенным *plena potentia agendi* и *sigillum authenticum*, а следовательно, способным заменить (говорить за кого-то — значит говорить вместо) серийные[iii] группы, состоящие из разобщенных и изолированных индивидов, постоянно обновляющихся, способных действовать и говорить только от своего имени. Второй, гораздо более скрытый, акт делегирования, к рассмотрению которого я хотел бы теперь перейти, — это акт, посредством которого уже конституировавшаяся социальная реальность — Партия, Церковь и т. д. — наделяет своим мандатом какого-либо индивида (я сознательно употребляю бюрократическое слово «мандат»). Им может быть секретарь (понятия «секретарь» и «бюро» прекрасно сочетаются), министр, генеральный секретарь и т. д.

Здесь уже доверитель выбирает своего уполномоченного, а бюро вверяет мандат своему полномочному представителю. Я сейчас постараюсь объяснить суть этого «черного ящика»: во-первых, перехода от атомизированных субъектов к бюро и, во-вторых, перехода от бюро к секретарю. При анализе этих двух механизмов воспользуемся парадигмой организации Церкви. Церковь, а через нее и каждый из ее членов, располагают «монополией на легитимное манипулирование атрибутами спасения». В этих условиях делегирование является актом, которым Церковь (а не просто верующие) наделяет церковнослужителя правом действовать от своего имени.

В чем же состоит таинство богослужения? В том, что доверенное лицо оказывается способным действовать в качестве субститута группы своих доверителей, благодаря неосознанному делегированию (я представил его здесь, как если бы оно было вполне осознанным, исключительно в целях ясности изложения как своего рода артефакт, аналогичный идее общественного договора). Иначе говоря, доверенное лицо некоторым образом находится с группой в отношении метонимии: оно — часть группы, которая может функционировать как знак вместо целой группы.

Оно также может выступать в роли пассивного, объективного знака, обозначающего, демонстрирующего в качестве представителя и группы *in effigie*[iv] существование своих доверителей (сказать, что ВКТ[v] была принята в Елисейском дворце, значит сказать, что вместо обозначаемого был принят знак). Более того, именно знак сигнализирует и, в качестве представителя, способен сигнализировать, чем он является, что он делает и представляет, и как он представляет себе свое представительство. И когда говорят, что «ВКТ была принята в Елисейском дворце», то подразумевается, что совокупность членов конфедерации была представлена там двумя способами: фактом демонстрации присутствия своего представителя и, в зависимости от обстоятельств, фактом его выступления. Становится очевидным, что уже в самом акте делегирования заложена возможность для злоупотреблений. В той мере, в какой в большинстве случаев делегирования доверители предоставляют своему доверенному лицу свободу действий, хотя бы потому, что им часто неизвестно, на какие вопросы придется ему отвечать, они целиком на него полагаются.

Согласно средневековой традиции, вера доверенных лиц, целиком полагавшихся на институт, называлась *fides imprecia*. Это прекрасное выражение может быть легко применено и к политике. Чем более люди обездолены — особенно в культурном отношении, — тем больше они вынуждены и склонны, желая заявить о себе в политике, полагаться на доверенных лиц. На практике индивиды, находящиеся в изолированном и безгласном состоянии, не имеющие ни способности, ни власти, чтобы заставить слушать себя и быть услышанными, оказываются перед выбором: либо безмолвствовать, либо доверить другим право говорить от своего имени.

В тех крайних случаях, когда речь идет о доминируемых группах, акт символизации, благодаря которому конституируются их представители — конституирование «движения», — единовременен акту конституирования группы: знак продуцирует обозначаемую вещь, обозначающее идентифицируется с обозначаемой вещью, которая без него не существовала бы и которая сводится к нему. Обозначающее — это не только тот, кто выражает и представляет обозначаемую группу; это тот, благодаря кому группа узнает, что она существует, тот, кто обладает способностью, мобилизуя обозначаемую им группу, обеспечивать ей внешнее существование. Только один он, при определенных условиях,

благодаря власти, обеспечиваемой ему актом делегирования, в состоянии мобилизовать группу, например, на манифестацию. Когда представитель заявляет: «Я продемонстрирую вам свою способность представлять, представив людей, которых я представляю» (отсюда вечные споры относительно числа участвовавших в манифестациях), то он, демонстрируя тех, кто его уполномочил, демонстрирует свою легитимность.

Но способностью демонстрировать демонстрантов он располагает лишь в той мере, в какой сам является в некотором роде группой, которую демонстрирует. Иначе говоря, и это можно показать на примере как руководящих работников, как это сделал Люк Болтанский, так и на примере пролетариата или преподавателей, как это делается в большинстве случаев, для того, чтобы избежать существования, которое Ж. П. Сартр называл серийным, и обрести действительно коллективное существование, не оставаясь другого пути, как прибегнуть к услугам представителя. Это есть процесс объективации через «движение», «организацию», который с помощью *factio juris*[vi] типичной для социальной магии, позволяет простому *collectio personarum plurium* выступать в качестве юридического лица, в качестве социального агента. Возьмем пример из самой повседневной политической жизни, ежечасно проходящей перед нашими глазами. Сделаем это с единственной целью быть понятыми, но рискуя, однако, при этом быть слишком легко понятыми в смысле обычного полупонимания — основного препятствия на пути к истинному пониманию.

Самое трудное в социологии — это, сохраняя полную способность удивляться и недоумевать, научиться размышлять о вещах, давно считающихся понятыми. Вот почему иногда, чтобы действительно понять самое простое, начинать следует с наиболее трудного. Приведу пример. Во время майских событий 1968 г. неожиданно возник некий господин Бэйе, который на протяжении всех этих «дней» непрестанно выступал в качестве президента Общества агреже[vii], выражая их интересы. Это общество — по крайней мере в то время — практически не имело социальной базы.

Вот типичный пример узурпаторства со стороны человека, который пытается убедить (кого? — спросите вы. — По меньшей мере прессу, обычно признающую только представителей и только с ними имеющую дело, обрекая других на «свободный обмен мнениями»), что «за ним» стоит определенная группа, раз он может говорить от ее имени в качестве юридического лица, не будучи никем уличен во лжи. Здесь мы оказываемся перед парадоксом: узурпатор тем надежнее защищен от риска быть уличенным во лжи, чем малочисленнее его организация; отсутствие же разоблачений на деле может вообще указывать на отсутствие членов организации. Что можно противопоставить такому человеку? Можно публично протестовать, можно начать собирать подписи под петицией.

Например, когда члены коммунистической партии пытаются избавиться от бюро, они вновь попадают в положение изолированных, «серийных» индивидов, вынужденных заново обзаводиться своим представителем, бюро, группой для того, чтобы избавиться от представителя, бюро, группы, т. е. они обращаются к тому, против чего большинство движений, особенно социалистических, постоянно выступает как против смертного греха, — к «фракционизму». Иначе говоря, как можно бороться против узурпации власти уполномоченными представителями? Разумеется, существуют индивидуальные решения против всех форм подавления коллективом — *exit and voice*, как выражается Альберт Хиршман, т. е. либо выход из него, либо протесты. Но можно также попытаться создать новое общество. И если вы читаете газеты того времени, то узнаете, что к 20 мая 1968 г. возникло еще одно Общество агреже со своим генеральным секретарем, печатью, бюро и т. д. И так без конца.

Следовательно, основополагающий в философском и политическом смысле акт конструирования, каким представляется делегирование, является актом магическим, позволяющим тому, что оставалось до этого лишь собранием множества лиц, серийно случайно оказавшихся вместе индивидов, возродиться к жизни в форме фиктивного лица, *corporatio*, тела, мистического тела, воплощенного в социальном теле, трансцендентном в свою очередь по отношению к составляющим его биологическим телам (*corpus corporatum in corpore corporate*).

#### Самоосвящение доверенных лиц

Показав, насколько явление узурпации потенциально присуще акту делегирования и каким образом сам факт, позволяющий говорить за кого-то, т. е. в его пользу и от его имени, может перейти в естественную склонность говорить вместо, я хотел бы теперь остановиться на тех

общераспространенных стратегиях, с помощью которых доверенное лицо стремится к самоосвящению. Для того, чтобы иметь возможность отождествить себя с группой и сказать: «Я есмь группа», «Я существую, следовательно, группа существует», доверенное лицо должно неким образом раствориться в группе, отказаться от своей личности в пользу группы, громогласно и торжественно заявить о себе: «Я существую только благодаря группе». Узурпация, осуществляемая доверенным лицом, по необходимости скромна и предполагает скромность. Именно поэтому, по-видимому, все аппаратчики имеют фамильное сходство. Можно говорить о своего рода лицемерии, структурно присущем доверенному лицу, которое, чтобы присвоить себе авторитет группы, должно отождествить себя с ней, свести себя к группе, наделяющей его своим авторитетом.

Здесь я хотел бы процитировать Канта, который в «Религии в пределах только разума» отметил, что Церковь, которая была бы основана не на рациональной, а на абсолютной вере, имела бы не «служителей» (*ministri*), а «высокопоставленных функционеров» (*officiales*), которые посвящают в сан и которые, даже когда не выступают во всем иерархическом блеске, как, например, в протестантской церкви, и «на словах восстают против подобных претензий, тем не менее желают, чтобы их рассматривали как единственных уполномоченных толкователей Священного писания» и превращают тем самым «служение (*ministerium*) Церкви в господство (*imperium*) над ее членами, хотя, для того, чтобы скрыть факт узурпации, они и пользуются скромным званием служителей».

Таинство служения возможно только при условии, если служитель скрывает осуществляемую им узурпацию и *imperium*, которое она ему обеспечивает, представляясь простым служителем. Ибо использование обманным путем в личных интересах преимуществ своего положения возможно лишь в той мере, в какой оно скрывается, — это входит в само определение символической власти. Символическая власть есть власть, которая предполагает признание, т. е. незнание о факте творимого ею насилия. Следовательно, символическое насилие, осуществляемое служителем культа, возможно только при некоего рода соучастии, оказываемом ему вследствие незнания теми, кто испытывает на себе это насилие.

Ницше прекрасно говорит об этом в «Антихристе», в котором следует видеть критику не столько христианства, сколько института доверенных лиц и уполномоченных, поскольку служители католического культа суть воплощение доверенного лица. Вот почему он яростно нападает в своем сочинении на священников и их святейшее лицемерие, а также на приемы, с помощью которых доверенные лица Возводят себя в абсолют, самоосвящаются. Первый прием, которым может воспользоваться священнослужитель, состоит в том, чтобы убедить других в своей необходимости. Уже Кант упоминал о ссылках на необходимость толкования текстов, их законного прочтения. Об этом же открыто заявляет и Ницше: «При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным: за каждым словом встречается затруднение»[3].

Этим Ницше хочет сказать: чтобы освятить себя в качестве необходимого истолкователя, посредник должен создать потребность в своих услугах. А для этого ему необходимо сослаться на трудности, с которыми только он один был бы в состоянии справиться. Доверенное лицо осуществляет, таким образом, — я опять цитирую Ницше — «обращение самого себя в святого». Чтобы дать почувствовать свою необходимость, оно прибегает к стратегии «безличного» долга. «Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий «безличный» долг, всякая жертва молоху абстракции»[4].

Доверенное лицо — это тот, кто возлагает на себя священные задачи: «Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его жульничеству перед самим собой, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества... сам, освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!...»[5]. Эти приемы священнослужителей все имеют в своей основе лицемерие (*mauvaise foi*)[viii] в сартровском понимании этого термина — самообман, «святую ложь», с помощью которых священнослужитель, определяя ценность вещей, объявляет абсолютно хорошими именно те вещи, которые хороши для него самого. Священнослужитель, считает Ницше, — это тот, кто осмеливается «назвать «Богом» свою собственную волю»[6]. (Можно было бы также сказать и о политике, что он называет народом, общественным мнением, нацией свою волю.) Я вновь ссылаюсь на Ницше: ««Закон», «воля Божья», «священная книга», «боговдохновение» — все это только слова для обозначения условий, при которых жрец идет к власти, которыми он поддерживает свою власть, — эти понятия лежат в основе всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства»[7].

Этим Ницше хочет сказать, что уполномоченные приспособливают к своим нуждам общечеловеческие ценности, завладевают ими, «конфискуют мораль»[8] и присваивают себе такие понятия, как Бог, Истина, Мудрость, Народ, Свобода и т. д., превращая их в синонимы... В синонимы чего? — Самих себя: «Я есмь Истина». Они выдают себя за святых, освящают себя и тем самым возводят барьер между собой и простыми смертными, становясь, по словам того же Ницше, «мерой всех вещей».

Лучше всего функция священнического смирения проявляется в том, что я назвал бы эффектом оракула, благодаря которому уполномоченный заставляет говорить группу, от чьего имени он выступает, опираясь тем самым на авторитет этого неуловимого отсутствующего: самоуничтожаясь полностью во имя Бога или Народа, священнослужитель превращает себя в Бога и Народ. Я становлюсь Всем, когда Я превращаюсь в Ничто, и именно потому, что Я способен превратиться в Ничто, раствориться, забыть себя, пожертвовать собой, посвятить себя. Я только доверенное лицо Бога или Народа; но то, от имени чего Я выступаю, является Всем, и потому Я — Все. Эффект оракула — это, по существу, раздвоение личности: индивидуальная личность, «Я» самоуничтожается в пользу трансцендентного юридического лица («Я жертвую собой ради Франции»). Приобщение к духовному сану возможно лишь при условии настоящей метанойя, или превращения: обычный индивид должен умереть, чтобы вновь явиться в виде юридического лица. Умри — и стань институтом (именно это происходит при обрядах посвящения).

Как это ни парадоксально, но те, кто, чтобы стать Всем, превратили себя в Ничто, могут настаивать и на правомерности обратной зависимости и упрекать тех, кто остаются самими собой и выступают лишь от своего имени, в том, что они и фактически, и юридически являются Ничем (ввиду отсутствия у них чувства долга и т. п.). На этом основано право на обвинения и вынесение выговоров — одна из привилегий члена организации. Короче, эффект оракула представляет собой одно из тех явлений, которые кажутся нам легко понятными (все мы слышали о Пифии, о жрецах, истолковывающих прорицания оракулов).

Однако мы вовсе неспособны его распознавать в ситуациях, когда кто-то говорит от имени чего-то такого, что он вызывает к жизни самим фактом своей речи. Целая серия подобных символических эффектов, ежедневных в политической жизни, основывается на такого рода узурпаторском чревовещании, состоящем в том, чтобы заставить говорить тех, от чьего имени говоришь, имеешь право говорить, заставить говорить народ, от чьего имени тебе позволено говорить. Редко бывает так, чтобы, когда политик заявляет: «народ, классы, народные массы», он не прибегал к эффекту оракула, т. е. к трюку, смысл которого — в одновременном продуцировании высказывания и его расшифровке, в создании впечатления, что «я — это другой», что представитель, будучи всего лишь субститутумом народа, действительно — народ, а значит все, что им говорится, это — сама правда и сама народная жизнь.

Узурпация, заключающаяся в факте самоутверждения в своей способности говорить от имени кого-то, — это то, что дает право перейти в высказываниях от изъявительного к повелительному наклонению. Если я, Пьер Бурдьё, единственный социальный атом, находящийся в изолированном состоянии и выступающий только от своего имени, вдруг заявляю, что нужно делать то-то и то-то, например, свергнуть правительство или отказаться от ракет типа «Першинг», то вряд ли кто за мной пойдет. Но если я окажусь в ситуации, определенной моим официальным положением таким образом, что смогу выступать «от имени народных масс» или а fortiori «от имени народных масс, науки и научного социализма», то все меняется. Переход от изъявительного к повелительному наклонению (последователи Дюркгейма, пытавшиеся основать мораль на науке о нравах, хорошо это почувствовали) предполагает переход от индивидуального к коллективному как основе любой признанной или могущей быть признанной формы принуждения.

Эффект оракула являет собой предельную форму результативности; это то, что позволяет уполномоченному представителю, опираясь на авторитет уполномочившей его группы, применить по отношению к каждому отдельному члену группы признанную форму принуждения, символическое насилие. Если я — человек, ставший коллективом, человек, ставший группой, и если эта группа есть группа, часть которой вы составляете и которая сообщает вам некоторую определенность и идентичность, благодаря чему вы действительно являетесь скажем, преподавателем, протестантом, католиком и т. д., остается только повиноваться.



Эффект оракула — это эксплуатация факта трансцендентности группы по отношению к отдельным индивидам, осуществляемая одним из индивидов, действительно являющимся некоторым образом группой, хотя бы потому, что никто не может встать и сказать: «Ты — не группа». Правда, у других остается возможность основать еще одну группу и добиться признания себя в качестве ее доверенного лица.

Этот парадокс монополизации коллективной истины вообще лежит в основе символического принуждения: я являюсь группой, т. е. коллективным принуждением, принуждением коллектива по отношению к каждому его члену, я — человек, ставший коллективом, и тем самым я тот, кто манипулирует группой от имени самой этой группы; я присваиваю авторитет группы, которая дает мне право осуществлять по отношению к ней принуждение. (Заключенный в эффекте оракула элемент насилия нигде так не ощущается, как в ситуациях собраний людей, — в ситуациях типично экклезиастических, когда уполномоченные в обычном порядке представители, а в кризисных ситуациях сами себя уполномочившие профессиональные представители, — получают возможность говорить от имени всей собравшейся группы. Это насилие проявляется в почти физической невозможности диссидентских, расходящихся с другими выступлений против принудительного по своему характеру единодушия, обеспечиваемого монополией на выступления, и такими техническими приемами приведения к единогласию, как голосование по поводу сманипулированных резолюций поднятием руки или оракулами).

В этой связи серьезного лингвистического анализа заслуживают та двойная игра и те риторические приемы, в которых проявляется структурное лицемерие уполномоченных представителей, и в частности, их постоянные переходы от «мы» к «я». В области символов акты насилия выражаются в силе образов и, только зная это, можно превратить лингвистический анализ в инструмент политической критики. Когда аппаратчик желает совершить акт символического насилия; то он с «я» переходит на «мы». Он скажет не: «Я считаю, что вам, социологам, следует изучать рабочих», а: «Мы считаем, что вам следует...» или: «Существует социальная потребность в том, чтобы...».

Следовательно, «я» доверенного лица, его частный интерес должен скрываться за исповедуемым интересом группы, и потому оно вынуждено, как говорил Маркс, «универсализировать свой частный интерес» с тем, чтобы выдавать его за интерес групповой. В еще более общей форме, использование абстрактного языка, столь характерных для политической риторики абстрактных громких слов, вербализма абстрактной добродетели, способного, как это хорошо подметил еще Гегель, порождать лишь фанатизм и якобинский терроризм (достаточно познакомиться с перепиской Робеспьера с ее ужасным пустозвонством), — все это характерно для логики двойной игры, лежащей в основе — с субъективной и объективной точек зрения — легитимной узурпации, совершаемой доверенными лицами.

В качестве примера я хотел бы, остановиться на спорах по поводу народного искусства. (Меня несколько беспокоит, насколько понятно то, о чем я здесь говорю, что не может не отражаться на том, как я излагаю свои мысли.) Вы, очевидно, знакомы с бесконечными спорами о народном и пролетарском искусстве, о социалистическом реализме, народной культуре и т. д. — спорами типично теологического характера, в которые социология не может включаться, не попадая в ловушку. Вы спросите: почему? — Да потому, что здесь исключительно благодатная почва для, проявлений только что описанного мной эффекта оракула. То, что, например, называют социалистическим реализмом, является на деле продуктом типичной подмены, когда частное «я» политических доверенных лиц, «я» второразрядного мелкобуржуазного интеллигента, добивающегося во всем порядка, и прежде всего в том, что касается первоклассных интеллигентов, универсализирует себя, институализируясь, так сказать, в народ. Достаточно даже беглого анализа сущности социалистического реализма, чтобы увидеть: нет ничего народного в том, что в реальности являет собой не что иное, как формализм или даже академизм, основанный на весьма абстрактной аллегорической иконографии: «Трудящийся» и т. д. (даже если это искусство внешне, по-видимому, и отвечало потребности народа в реализме).

Отнюдь не являясь выражением народа, это формалистическое и мелкобуржуазное искусство по сути заключает в себе отрицание народа. Ибо в стремлении представить его в образе обнаженного по пояс, мускулистого, загорелого, устремленного в будущее и т. п. «народа», отразились в первую очередь социальная философия и неосознанный мелкобуржуазный идеал работников партаппарата, в котором их реальный страх перед реальным, народом обнаруживается в том, что они идентифицируют себя с явно идеализированным народом с факелом в руке — светочем всего человечества... То же самое

можно было бы продемонстрировать на примере народной культуры. Все это — характерные случаи подмены субъекта.

Духовенство — и именно это хотел показать Ницше — священнослужители, Церковь, а также аппаратчики во всех странах подменяют видение мира той группы, выразителями которой они себя считают, собственным видением мира (деформированным под воздействием их *libido dominandi*[ix]). Сегодня народом пользуются также, как в былые времена пользовались Богом для сведения счетов между духовными лицами.

### Гомология и эффекты незнания

Однако необходимо также задаться вопросом, почему несмотря ни на что, удаются все эти стратегии двойной игры, и как происходит, что двойная игра доверенных лиц остается незамеченной. Здесь необходимо понять то, что составляет суть таинства богослужения, а именно: «легитимное лицемерие». Вряд ли стоит в самом деле, отталкиваясь от наивного представления о преданном доверенном лице, бескорыстном деятеле, преисполненном чувства самоотречения руководителе, впадать в другую крайность — в представление о доверенном лице как о сознательном и целеустремленном узурпаторе. Таково характерное для XVIII века (например, для Гельвеция и Гольбаха) представление о священнике — весьма наивное, несмотря на его кажущуюся ясность. Ибо легитимное лицемерие только потому и оказывается успешным, что узурпатор — не расчетливый циник, сознательно обманывающий народ, а человек, совершенно искренне принимающий себя за нечто другое, чем он есть.

Один из механизмов, позволяющий узурпаторству и двойной игре осуществляться, если можно так выразиться, в полной невинности и совершенной искренности, заключается в том, что в большинстве случаев интересы доверителей и доверенного лица существенным образом совпадают, так что доверенное лицо может верить, заставляя и других в это поверить, что у него нет иных интересов, кроме интересов своих доверителей. Чтобы это объяснить, необходимо несколько отклониться в сторону и заняться более сложным анализом. Существуют политическое, религиозное и т. п. пространства. Это то, что я также называю полями, т. е. автономными универсумами, своего рода игровыми площадками, на каждой из которых игры ведутся по своим особым правилам, отличным от правил игры в соседнем пространстве.

Участвующие в играх люди преследуют свои специфические интересы, интересы, которые не определены их доверителями. Политическое пространство имеет, так сказать, правую и левую стороны, доминирующих и доминируемых; социальное пространство также имеет своих доминирующих и доминируемых: бедных и богатых. И эти пространства сообщаются друг с другом. Между ними существует гомология. Это означает, что *grosso modo* тот, кто занимает в одной игре позицию слева — «а», находится по отношению к тому, кто занимает позицию справа «в», в таком же положении, в каком тот, кто занимает позицию слева «А», находится по отношению к тому, кто занимает позицию справа — «В» в другой игре. Когда у «а» появляется желание напасть на «в», чтобы свести с ним специфические счеты, он действует в своих интересах, но преследуя их, он оказывает вместе с тем услугу «А». Это структурное совпадение между специфическими интересами доверенных лиц и доверителей лежит в самой основе таинства искреннего и успешного богослужения. Люди, которые искренне служат интересам своих доверителей, тем самым хорошо служат и себе. Им это выгодно, и именно это важно, чтобы механизм функционировал.

Если я говорю об интересах, то потому, что данное понятие выполняет функцию разрыва: позволяет порвать с традиционной идеологией незаинтересованности — этой профессиональной идеологией всякого рода служителей. У людей, участвующих в религиозных, интеллектуальных и политических играх, есть свои специфические интересы, которые являются жизненно важными для общества (как бы ни отличались, например, от интересов других интересы генеральных директоров, ведущих свою игру в экономическом поле). Все эти интересы символического характера — не потерять лица, не лишиться избирательного округа, заставить замолчать соперника, одержать верх над враждебным «течением», заполучить пост председателя и т. д., — таковы, что, служа и подчиняясь им, исполнители, как нередко оказывается, служат и своим доверителям (разумеется, бывают исключения, когда интересы доверенных лиц вступают в конфликт с интересами доверителей).

Тем не менее гораздо чаще, чем можно было бы ожидать, если бы все происходило, подчиняясь исключительно воле случая или чисто статистическим законам агрегации (группировки) индивидуальных интересов, случается так, что, в силу гомологии, исполнители, довольствующиеся тем, что подчиняются тому, чему обязывает их занимаемое ими положение в игре, служат ео ipso[x] — и кроме того — людям, которыми сами они пользуются и служить которым они призваны. Эффект метономии позволяет универсализировать частные интересы аппаратчиков и отождествлять интересы доверенных лиц с интересами доверителей, которых они призваны представлять.

Основное достоинство этой модели в том, что в ней учитывается факт, что доверенные лица не являются циниками (или, во всяком случае, в гораздо меньшей степени и значительно реже, чем можно было бы ожидать), а сами искренне вовлечены в игру и действительно верят в то, что делают. Во множестве такого рода случаев доверители и доверенные лица, клиенты и производители находятся в отношениях структурной гомологии. Это, в частности, можно сказать и об интеллектуальном и журналистском полях. Так, поскольку журналист из «Нувель обсерватер» находится по отношению к журналисту из «Фигаро» в таком же положении, в каком читатель «Нувель обсерватер» находится по отношению к читателю «Фигаро», то, когда этот журналист не отказывает себе в удовольствии свести счеты с журналистом из «Фигаро», он доставляет удовольствие и читателю «Нувель обсерватер», никогда не стремясь при этом ему угодить.

Это очень простой механизм, но им опровергается обычное представление об идеологической деятельности как о заинтересованном служении и раболепии, как о своекорыстной подчиненности выполняемой функции: журналист из «Фигаро» не является платным писакой на службе у епископата или лакеем капитализма и т. д. Он прежде всего журналист, который, в зависимости от конкретного момента, отдает предпочтение то «Нувель обсерватер», то «Либерасьон».

#### Уполномоченные аппарата

До сих пор я делал упор на отношения между доверителями и доверенными лицами. Теперь мне необходимо рассмотреть отношения между корпусом доверенных лиц, или аппаратом, который имеет собственные интересы и, как утверждает Вебер, «собственные тенденции», в частности, тенденцию к самовоспроизводству, и отдельными доверенными лицами. Когда корпус доверенных лиц, корпус священнослужителей — Партия и т. д. — отстаивают собственные тенденции, то интересы аппарата превалируют над интересами отдельных доверенных лиц, которые ввиду этого перестают быть доверенными лицами своих доверителей и становятся ответственными перед аппаратом. С этого момента без знания аппарата уже становится невозможным понять особенности доверенных лиц и их практические действия.

Согласно основному закону деятельности бюрократических аппаратов, аппарат дает все (в том числе и власть над самим аппаратом) тем, кто также отдает ему все и ждет от него всего, потому что вне аппарата такие люди не имеют ничего или почти ничего. Выражаясь более грубым языком, аппарат дорожит больше всего теми, кто больше всего дорожит им, потому что именно они больше всего от него зависят. Зиновьев[9], который хорошо понял это, что в общем-то не удивительно, но который все еще остается в плену ценностных суждений, пишет: «Основа успеха Сталина заключается в том, что он был исключительной посредственностью». Все это — очень красивые, но отчасти ошибочные формулировки, потому что их полемический настрой, покоряя нас, мешает восприятию (что вовсе не означает их принятия) фактов такими, какие они есть. Именно моральное возмущение мешает понять, почему успехов в аппарате добиваются те, кто с точки зрения харизматической интуиции воспринимаются как наиболее глупые и заурядные, кто сами по себе не представляют никакой ценности.

А добиваются они успеха вовсе не потому, что заурядны, а потому, что у них вне аппарата нет ничего, что им позволяло бы решиться на какие-либо вольности в отношении этого аппарата, пойти на какие-либо уловки. Таким образом, существует известная и причем не случайная структурная общность между аппаратом и определенной категорией людей. Их можно охарактеризовать в основном негативно, как напрочь лишенных качеств, обладание которыми могло бы вызвать интерес в известный момент и в рамках определенного поля деятельности. Выражаясь более нейтрально, аппарат обычно возносит на пьедестал людей надежных.

Но почему надежных? Потому что у них нет ничего, что они могли бы противопоставить аппарату. Так, во французской компартии в 50-е годы и в Китае времен «культурной революции» в роли символических церберов и сторожевых псов выступала, как известно, преимущественно молодежь. Молодым, однако, присущи не только энтузиазм, наивность и убежденность: все то, что обычно с ними связывают, вовсе при этом не думая о самой молодежи. Согласно моей модели, молодые — это прежде всего те, кто ничего не имеет. Это — новички, которые включаются в деятельность, будучи лишены какого-либо капитала.

И в глазах аппарата они являются пушечным мясом в борьбе со старыми кадрами, которые, постепенно обзаведясь капиталом, — либо самостоятельно, либо с помощью партии — используют его против партии. Тот же, у кого ничего нет, беспрекословен и не склонен к оппозиции еще и потому, что аппарат многое дает ему в награду за его стоворчивость и ничтожество. Именно благодаря этому в 50-е годы какой-нибудь двадцатипятилетний интеллигент, являясь уполномоченным аппарата, мог иметь ex officio такую читательскую аудиторию, на какую смели рассчитывать разве только самые именитые интеллигенты, да и то, так сказать, за авторский счет.

И этот своего рода железный закон аппаратной жизни тесно связан с другим важным процессом, на котором я хотел бы немного задержаться и который я

назвал бы эффектом бюро. Сошлюсь при этом на результаты анализа процесса большевизации, проведенного Марком Ферро. В начале русской революции в местных советах, заводских комитетах, т. е. в спонтанно складывавшихся группах могли участвовать все, все могли свободно говорить и т. д. Но потом, с назначением «освобожденных» работников, люди стали приходить все реже. Институализация (советов), воплощенная в таких работах и в бюро, все перевернула. Так как бюро стали стремиться к монополии на власть, число участников собраний не могло не сократиться. Созывались бюро, собравшиеся использовались, во-первых, для того, чтобы подтвердить представительность своих представителей и, во-вторых, чтобы утвердить их решения,

«Освобожденные» работники начали упрекать рядовых членов за то, что они не достаточно часто посещали собрания, где им отводилась такая роль. Этот процесс, в результате которого власть сосредотачивалась в руках доверенных лиц, представляет собой как бы историческую реализацию ситуации, описываемой в теоретической модели делегирования. Люди собираются, говорят. Но потом появляются «освобожденные» работники, и люди начинают приходить реже. Потом возникают бюро с их особой компетенцией и специфическим языком. Можно было бы здесь напомнить историю бюрократизации научно-исследовательской деятельности, в ее структуре существуют научные сотрудники и научные администраторы, призванные обслуживать научных сотрудников. Для научных сотрудников непонятен их бюрократический язык: «исследовательский пакет», «приоритеты», так же, как в последнее время им непонятен язык технократическо-демократический с его «социальным заказом» и т. д. С некоторого момента они перестают являться на встречи с администраторами, те в свою очередь возмущаются их отсутствием. Правда, некоторые научные работники, имея свободное время, все же не отказывались от таких встреч. Результаты этого очевидны.

«Освобожденный» работник, как видно из названия, — тот, кто все свое время тратит на то, что для других является не основным, или чему они могут уделять только часть своего времени. А у него время есть, ему некуда спешить. Он способен растворить в медленно текущем бюрократическом времени, в повторах, требующих времени и энергии, самые пророчески смелые начинания, жизнь которых не вечна. В силу этого в руках у доверенных лиц концентрируется власть. Складывается характерная идеология, в основе которой лежит радикальное изменение их отношения к доверителям. Они отныне обвиняются в абсентеизме, некомпетентности, безразличном отношении к интересам коллектива. При этом не учитывается, что все это — лишь следствие концентрации власти в руках освобожденных работников, предел мечтаний которых — аппарат вообще без какой-либо социальной базы, без сторонников, активистов... Перманентность они противопоставляют прерывности. Их компетентность специфична. У них особый язык, только им свойственная культура — культура аппаратчиков, основанная на их собственной истории мелких дел. (Граммши где-то говорит о характерных для коммунистов византийских спорах и конфликтах по поводу тенденций и течений, в которых невозможно ничего понять.)

Наряду с этим существует специфическая социальная технология. Эти люди суть профессионалы в искусстве манипулирования единственной ситуацией, когда у них могли бы возникнуть проблемы, а

именно: ситуацией конфронтации со своими доверителями. Они умеют манипулировать общими собраниями, превращая голосование в овации и т. д. Кроме того, на их стороне сама логика социальных процессов (для того, чтобы что-то доказать, требуется время); им достаточно просто ничего не делать, чтобы сами события развивались в их интересах.

Их власть часто состоит в сопряженном с неопределенностью выборе: ничего не делать, не выбирать. Нетрудно понять, что центральным моментом во всем этом процессе является полная переоценка шкалы ценностей, в результате которой оппортунизм превращается в воинственную приверженность: существуют должности, привилегии и люди, которые их занимают или ими пользуются. Вместо того, чтобы испытывать чувство вины за использование своего положения в личных интересах, они ссылаются на то, что занимают эти должности не ради личных выгод, а в интересах партии или дела.

Точно также они ссылаются, желая сохранить их за собой, на общее правило, согласно которому завоеванные должности не покидают. Они называют капитулянтством и преступным диссидентством любые проявления этической щепетильности в вопросе о власти.

Итак, можно говорить о своего рода самоосвящении или теодицее аппарата. Он всегда прав (и самокритика индивидов является последним средством против постановки под вопрос самого аппарата). В результате полной переоценки шкалы ценностей с характерным якобинским восторгом в отношении политики и политического сословия, политическое отчуждение, о котором шла речь в начале статьи, перестали вовсе замечать. Напротив, возобладало жреческое видение политики, и неучаствующие в политических играх начали испытывать чувство вины. Иными словами, в сознании людей удалось глубоко укоренить представление о том, что сам факт неучастия в общественных организациях и невовлеченности в политику представляет собой род вины, в которой придется вечно раскаиваться.

Так что последнюю политическую революцию — революцию против сословия политиков и против потенциально содержащейся в акте делегирования узурпации — еще только предстоит совершить.

[i] Доклад, сделанный 7 июня 1983 г. на заседании Ассоциации студентов-протестантов г. Парижа.

[ii] «С крупинкой соли», т. е. с солью остроумия, иронически или критически, с некоторой поправкой, с известной оговоркой (лат.).

[iii] термин, введенный Ж. П. Сартром

[iv] в воображении (лат.).

[v] Всеобщая конфедерация труда Франции. — Прим. перев.

[vi] юридическая фикция (лат.).

[vii] Ученая степень, дающая во Франции право преподавания в лицах и на естественнонаучных и гуманитарных факультетах университетов. — Прим. перев.

[viii] У Ж. П. Сартра — установка сознания, скрывающего от самого себя истину, самообман. — Прим. перев.

[ix] властолюбие (лат.).

[x] тем самым (лат.).

[1] Ср.: Маркс К. Капитал. Т. 1Ц Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С.82: «...продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью...».

[2] Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 84.

[3] Ницше Ф. Антихрист. Сочинения в двух томах. Москва: Мысль, 1990. Т. 2. С. 668.

[4] Там же. С. 639.

[5] Там же. С. 639-640.

[6] Ницше. Указ. соч. С. 673.

[7] Там же. С. 682-683.

[8] Там же. С. 669.

[9] Здесь автор близок к формулированию закона. Имея в виду аппаратчиков, он в другом месте говорит об их «исключительно незначительной, но оттого и непобедимой силе».

Пьер Бурдьё

#### МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО

Об отношениях между историей овеществленной и историей инкорпорированной

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Ю.М. Ледовских/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 263-308.)

«Как в королевских и герцогских семьях со смертью главы семьи его титул переходит к сыну и из герцога Орлеанского, принца Торонтского или принца Ломского он превращается в короля Франции, герцога Тремайльского, герцога Германского, так, часто в результате восхождения иного порядка и из более глубоких истоков мертвый хватает живого, который становится внешне похожим на него наследником, продолжателем его не прекращающейся жизни.»

М. Пруст. В поисках утраченного времени.

«Право иметь своих представителей было установлено в 1936 году. Завоеванное в забастовках, оно в действительности было введено в силу декретом 1945 года. Заводы 'Рено' в Флинсе открылись в 1952 году. Следовательно, во Флинсе синдикализм не имеет традиции организаций 'без представителей' Уже одно это осложняет дело.»

Н. Дюбост. Флинс без конца...

Философия истории, которая запечатлена в самой обыденной практике повседневного языка и которая стремится к тому, чтобы слова, обозначающие институты и коллективы — Государство, Буржуазия, Патронат, Церковь, Семья, Правосудие, Школа — конституировались в исторические субъекты, способные формулировать и реализовывать собственные цели («Государство — буржуазное — решает...», «Школа — капиталистическая — исключает...», «Церковь Франции борется...» и т. д.), находит свое высшее воплощение в понятии Аппарата (устройства) с большой

буквы, вновь вошедшем сегодня в моду в так называемых «концептуальных» речах. В качестве механического исполнителя исторической целесообразности Deus (Diabolus) in machina «Аппарат», эта — в зависимости от идеологического настроения — божественная или адская машина, этот функционализм наилучшего и наихудшего толка, предрасположен к функционированию как Deus ex machina, «пристанище для незнания», конечная причина, способная — причем с наименьшими затратами — все оправдать, ничего не объясняя: следуя этой логике, являющейся ни чем иным, как логикой мифологии, великие аллегорические образы доминирования не могут не вызвать в противовес себе лишь другие мифические персонификации, такие, как Рабочий класс, Пролетариат, Трудящиеся или даже Борьба — олицетворение Социального движения и его мстительного гнева[1].

Если эта версия теологической философии истории, пожалуй, не столь далекая, как это может показаться, от выражения морального негодования — «все это неслучайно», — могла и может еще представляться интеллектуально приемлемой, то потому, что является отражением и выражением диспозиций, входящих составной частью в «философскую позицию», какой она определяется в данный момент времени процессами отбора и становления профессиональных философов.

Она действительно удовлетворяет как требованию высокого «теоретизирования», вдохновляющего на парение над фактами и на пустые и поспешные обобщения[2], так и герменевтической претензии, заставляющей искать сущность за видимостью, структуру — по «ту сторону» истории и всего того, что ее собственно определяет, то есть всех этих расплывчатых; вязких и двусмысленных реальностей, которыми загромождены общественные науки — дисциплины, носящие вспомогательный и обслуживающий характер, годные на то, чтобы поставлять «пищу для размышления», и постоянно подозреваемые в сговоре с реальностью, к познанию которой они стремятся. Так, Альтюссер под предлогом теоретической реставрации возродил в лоне марксистской ортодоксии осуждение, налагаемое на всех тех, кто уже самим фактом исследований свидетельствовал, что еще не все найдено. Убивая одним выстрелом двух зайцев, он усиливал, если в этом была необходимость, то презрительное и настороженное отношение к «так называемым общественным наукам» — этим плебейским и навязчивым научным дисциплинам, которое философская ортодоксия никогда не прекращала исповедовать.

Низводить агентов до роли исполнителей, жертв или соучастников политики, запечатленной в Сущности аппаратов, это значит обосновывать выведение существования из сущности, черпать знания о поведении в описаниях Аппарата и тем самым экономить на наблюдениях практики и отождествлять исследовательскую работу с чтением докладов, принимаемых за реальные матрицы практики.

Если верно, что склонность трактовать социальный универсум как Аппарат соразмерна временной удаленности, обрекающей на объективность, и невежеству, упрощающему видение, то понятно, почему историки, склонные, впрочем, в силу их положения в университетском пространстве к менее амбициозным теоретическим устремлениям, оказываются и менее склонными к героизации коллективных сущностей. Их видение предмета, тем не менее, еще очень часто определяется их отношением к нему. И это прежде всего потому, что выработка позиции в отношении прошлого коренится в неявно принятых позициях по отношению к настоящему (наиболее наглядный пример тому — Французская Революция) или, точнее, к интеллектуальным противникам в настоящем (в полном соответствии с логикой дуплета, вписанной в относительную автономию пространств культурного производства). Кроме того, историки не всегда избегают некой утонченной формы мистификации: во-первых, потому, что завещанная Мишле амбиция воскрешать прошлое и воссоздавать реальность, а также подозрительность по отношению к концептам склоняют их к интенсивному использованию метафор, о которых известно со времен Макса Мюллера, что они чреватые мифами; и затем, потому, что само их положение специалистов в области источников и истоков подталкивает к тому, чтобы поместиться в мифической логике истоков и первоначал.

К обычным мотивам, склоняющим к осмыслению истории как поиску ответственности, добавляется в этом случае и своего рода профессиональная привычка: в противоположность деятелям искусств — авангардистам, которых она подталкивает к бегству вперед, поиск отличительного превосходства побуждает историков погружаться все дальше в прошлое, показывать, что все началось гораздо раньше, чем считалось, обнаруживать предшественников у предвестников, у предзнаменований — предвестий[3].

Достаточно подумать о вопросах, подобных вопросу о зарождении капитализма или о появлении современного типа художника, несомненный успех которого не объяснить, если бы они не способствовали regressum ad infinitum[i] превосходства эрудита. Эти результаты логики, присущей производственному полю, часто комбинируются с воздействием политического настроения, вдохновляя на окончательные инвестиции», которые скрываются за выработкой позиций по столь нечетко сформулированным проблемам, что могут служить поводом лишь для нескончаемых споров, как, например, вопрос о том, следует ли приписывать появление первых мер социальной защиты доброй воле «филантропов» или «борьбе трудящихся», или же вопрос о влиянии — плодотворном или угнетающем, которое якобы оказала королевская власть на французскую живопись XVII века. Безупречно аргументированные и со всей ученой строгостью документированные вердикты могут служить оправданием враждебного отношения к королевскому абсолютизму со стороны республиканских профессоров конца XIX века либо — сегодня — для молчаливых намеков на советское государство[4]. Или проблема временной границы между Средневековьем и эпохой Возрождения, работами по которой заполнены библиотеки и которая продолжает все еще вызывать споры между «либералами», стремящимися четко обозначить разрыв между Тьмой и Светом, и теми, кто настаивает (прежде всего францисканцы) на средневековых истоках Возрождения...

Действительно, склонность к политико-теологическому видению, позволяющая то ругать, то хвалить, то осуждать, то оправдывать прошлое, приписывая доброй или злой воле его свойства, зависит от того, в какой степени прошлое рассматриваемых институций выступает в качестве целей и инструментов борьбы, ведущейся с помощью этих самых институций, в социальном пространстве, где помещается историк, то есть в поле социальной борьбы, самом более или менее автономном по отношению к этой борьбе[5].

Склонность осмысливать исторический поиск в логике процесса, то есть как поиск истоков и ответственности и даже виновных, составляет основу телеологической иллюзии, точнее, той формы ретроспективной иллюзии, которая позволяет приписывать намерения и умыслы индивидуальным агентам и персонализированным коллективам. И в самом деле нетрудно, когда известно заключительное слово, трансформировать исход истории в цель исторического действия, а объективное побуждение, выявившееся лишь в конце, после борьбы, — в субъективное намерение агентов, в сознательную и расчетливую стратегию, жестко ориентируемую поиском того, что в конце концов происходит, — конституируя тем самым суд истории, то есть суждение, вынесенное историком, на Божий суд. Так, вопреки телеологической иллюзии, неизменно встречающейся в сочинениях, посвященных Французской Революции[6], анализ, проведенный Полем Буа, убедительно показывает, что в случае с сартуазским бокажем даже самые великодушные меры (как отмена нескольких налогов, которыми облагались крестьяне) понемногу искажались и перетолковывались в силу логики поля, в пределах которого они проводились[7].

Тот факт, что абстрактный, формальный и, если можно так выразиться, «идеалистический» характер мер, принятых в полном неведении относительно условий их реализации, способствовал тому, что по ошибке произошло их парадоксальное переименование, в результате которого они в конечном счете обернулись к выгоде их авторов или — что уже далеко не то же самое, — к выгоде их класса, вовсе не дает основания видеть в этом продукт циничного расчета — и в еще меньшей мере — своего рода чудо «буржуазного» бессознательного. Что важно понять, так это отношение между данными мерами (или габитусом, характерным для определенного класса, который здесь выражается, например, в форме универсализма или формализма их намерений) и логикой поля, где зарождаются в зависимости от габитуса, но никогда к нему полностью не сводимые, вызываемые ими реакции.

Причина и смысл какого-либо института (или какой-либо административной меры) и его социальных последствий заключаются не в «воле» индивида или группы, но в поле антагонистических и взаимодополняющих сил, где в зависимости от интересов, связанных с различными позициями, и от габитусов их занимающих, зарождаются «воли», и где в борьбе и посредством борьбы непрерывно определяется и переопределяется реальность институтов и их предвиденных и непредвиденных социальных воздействий.

Особая форма ретроспективной иллюзии, которая приводит к иллюзии телеологической, способствует тому, что объективно целенаправленное действие габитуса выражается как продукт сознательной, расчетливой и даже циничной стратегии — стратегии объективной, успех которой часто зависит именно от ее неосознанности и «незаинтересованности»: подобным образом те, кто добиваются



успеха в политике или даже в искусстве и литературе, в ретроспективном плане могут восприниматься как вдохновенные стратеги, тогда как та, что объективно было рациональным инвестированием [капитала], могло переживаться как рискованное пари и даже как безумие.

Требуемая и производимая принадлежностью к определенному полю, *illusio* исключает цинизм, и агенты практически никогда не обладают явно сформированным умением пользоваться механизмами, практическое овладение которыми является условием их успеха: так, например, наблюдаемые в рамках литературного поля и поля искусства реконверсии — переход от одного жанра к другому, от одной манеры к другой и т. д. — переживаются (и должны, по-видимому, переживаться, чтобы преуспеть) как конверсии. Короче, обращение к понятию стратегии, позволяющему порвать с хорошо обоснованной иллюзией незаинтересованности, а также со всеми формами механизма — будь то механизм *Deus in machina* — не предполагает возврата к какой-либо наивной форме телеологизма или интеракционизма.

Для того чтобы избежать губительных альтернатив, в рамках которых оказалась заключенной история (социология) и которые, подобно противоположности между событийным и долговременным или — в другом измерении — между «великими людьми» и коллективными силами, единичными волями и формами структурного детерминизма, основываются на различии между индивидуальным и социальным, отождествляемым с коллективным, достаточно обратить внимание на то, что любое историческое действие ставит нас перед лицом двух состояний истории (или социального): истории в ее объективированном состоянии, то есть истории, в течение длительного времени аккумулировавшейся в вещах, машинах, зданиях, памятниках, книгах, теориях, обычаях, праве и т. д., и истории в ее инкорпорированном состоянии, ставшей габитусом.

Тот, кто приподнимает шляпу, в знак приветствия, воскрешает, сам того не сознавая, условный знак, доставшийся в наследство от Средневековья, когда, как об этом напоминает Пановский, рыцари имели обычай снимать шлем, демонстрируя этим свои мирные намерения[8].

Такая актуализация истории является фактом габитуса, продукта исторического овладения, позволяющего обладать историческим опытом. История в смысле *res gestae*[ii] есть история овеществленная, влекомая, приводимая в действие, реактивируемая воплотившейся историей, и которая в свою очередь приводит в действие и несет то, что несет ее самое (в соответствии с диалектикой несущего и несомого, хорошо описанной Николаем Гартманом)[9].

Подобно тому, как письмо вырывается из состояния мертвой буквы только благодаря акту его прочтения, что предполагает и стремление его прочесть, и обладание навыками чтения и расшифровки заключенного в письме смысла, институтировавшаяся, объективированная история становится историческим действием, то есть историей, приводимой в действие и действующей, если только за ее осуществление принимаются агенты, которых к этому предрасполагает их история, и которые в силу своих предыдущих «капиталовложений» склонны к тому, чтобы интересоваться ее функционированием и обладают способностями, необходимыми для того, чтобы заставить ее функционировать.

Отношение к социальному миру является не отношением механической причинности, часто устанавливаемым между «средой» и сознанием, а своего рода онтологическим соучастием: когда одна и та же история преисполняет и габитус, и среду обитания, диспозиции и позицию, короля и его двор, хозяина предприятия и его предприятие, епископа и епархию, история неким образом сообщается с самой собой, отражается в себе самой, самоотражается. История  $\frac{3}{4}$  «субъект» раскрывается самой себе в истории  $\frac{1}{4}$  «объекте»: она узнает себя в «допредикативных», «пассивных синтезах», в структурах, структурированных до любой структурирующей операции и любого лингвистического выражения.

Доксическое отношение к родному миру, эта своего рода онтологическая ангажированность, устанавливаемая практическим смыслом, есть отношение принадлежности и владения, в рамках которого тело, освоенное историей, присваивает себе самым абсолютным и непосредственным образом вещи, пронизанные той же историей[10].

Изначальное отношение к социальному миру, в котором, то есть через и благодаря которому, мы создаемся, есть отношение владения, предполагающее владение объектами обладания своим

владельцем. Только когда наследство завладело наследником, как говорит Маркс, наследник может завладеть наследством. И это осуществляемое наследством овладение наследником и овладение наследником наследства, которое является условием присвоения наследником наследства (в чем нет ничего ни механического, ни фатального) происходит под совместным воздействием типов усвоения, вписанных в положение наследника и воспитательную деятельность предшественников — ставших в свое время присвоенными собственниками.

Унаследованный, присвоенный наследством наследник не имеет надобности выражать свою волю, то есть рассуждать, выбирать и сознательно принимать решения, чтобы делать то, что соответствует и отвечает интересам наследства, его сохранения и приумножения. Строго говоря, он может не осознавать ни того, что делает, ни того, что говорит, и [тем не менее) Не делать и не говорить ничего такого, что не согласовалось бы с требованиями наследства.

Людовик XIV столь полно отождествлял себя со своей позицией в том гравитационном поле, солнцем которого он являлся, что было также тщетно пытаться определить, что из всех действий, происходивших в поле, было, а что не было продуктом его воли, как пытаться в [исполняемом] музыкальном произведении определить, что является заслугой дирижера, а что — музыкантов оркестра. Его воля к доминированию сама продукт поля, над которым она доминирует и которое все оборачивает в свою пользу: «Приближенные, пленники сетей, расставлявшихся ими друг для друга, как бы поддерживали, так сказать, друг друга в своих позициях, даже если они и переносили саму систему лишь скрепя сердце. Давление, которое оказывали на них нижние или менее привилегированные слои, заставляло их защищать свои привилегии, И наоборот, давление, оказываемое сверху, подталкивало менее удачливых к тому, чтобы избавиться от него, подражая тем, кто достиг более выгодной позиции. Другими словами, они вступали в порочный круг соперничества из-за положения. Тот, кто имел право первым войти к королю, подать ему сорочку, презирал того, кто входил третьим и ни под каким предлогом не хотел ни в чем ему уступать, принц чувствовал себя выше герцога, герцог — выше маркиза, а все они вместе, как члены «дворянства», не хотели и не могли уступать простолюдинам, платившим налог. Одна установка порождала другую. Благодаря эффекту действий и противодействий, социальный механизм уравнивался, стабилизировался в некоем нестабильном равновесии»[11].

Таким образом, «Государство», ставшее символом абсолютизма и в высшей степени представлявшее — в глазах самого абсолютного монарха, самым непосредственным образом заинтересованного в таком представлении («Государство — это я») — внешнее проявление Аппарата, в действительности скрывает поле борьбы, в которое обладателю «абсолютной власти» приходится самому вмешиваться в степени достаточной, чтобы поддержать размежевания и напряженности, то есть само поле борьбы, и мобилизовывать энергию, порождаемую равновесием напряженностей. Принцип вечного движения, возмущающий поле, заключается не в каком-либо первичном неподвижном двигателе — в данном случае Короле-Солнце, — а в самой борьбе, которая, возникая под влиянием составляющих поле структур, воспроизводит и эти структуры, и иерархические отношения.

Он заключается в действиях и противодействиях агентов, у которых, если они только не выходят из игры и не уходят в небытие, не остается иного выбора, как бороться, чтобы сохранить или улучшить свою позицию в поле, то есть чтобы сохранить или даже прирастить специфический капитал, который зарождается только в поле, способствуя тем самым сохранению давления на всех других, принуждений, порождаемых конкуренцией, которые часто переживаются как невыносимые[12].

Короче, никто не может извлечь выгоды из игры, включая и тех, кто в ней доминирует, не вступив в игру и не увлекшись игрой: это означает, что не было бы игры, если бы не вера в игру, и если бы не воля, намерения и устремления, которые движут агентами, и которые, производимые игрой, зависят от позиций последних в игре, точнее, от их власти над объективированными проявлениями специфического капитала — того, что контролируется и манипулируется королем, пользующимся той степенью свободы в игре, которую она ему оставляет[13].

Те, кто относит, как, например, функционализм наихудшего толка, последствия доминирования на счет единой и центральной воли, отказываются замечать вклад, вносимый агентами (включая доминируемых) — хотя они того или нет, знают они об этом или нет, — в осуществление доминирования благодаря отношению, которое устанавливается между их диспозициями, связанными с их социальными условиями производства, и ожиданиями и интересами, вписанными в занимаемые

ими позиции внутри полей борьбы, стенографически обозначаемых такими словами, как Государство, Церковь или Партия[14].

Подчинение целям, значениям или интересам, являющимся трансцендентными, то есть стоящими над и вне индивидуальных интересов, практически никогда не бывает результатом императивного принуждения и осознанного подчинения. И это потому, что так называемые Объективные цели, в лучшем случае обнаруживающиеся лишь после события и лишь внешним образом, изначально практически никогда не осознаются и не ставятся в качестве таковых в самой практике ни одним из затрагиваемых агентов, даже когда речь идет о тех, кто более всего заинтересован в осознании своих целей — о доминирующих.

Подчинение совокупности практических действий какому-либо одному объективному намерению, это своего рода дирижирование в отсутствие дирижера, осуществляется лишь благодаря согласию, устанавливающемуся как бы вне агентов и поверх их голов между тем, что они есть, и тем, что они делают, между их субъективными «призваниями» (тем, ради чего они чувствуют себя «сотворенными» — «faits»), и их объективной «миссией» (тем, чего от них ждут), между тем, что история из них сделала, и тем, что она от них требует делать, — согласию, которое может выражаться либо в ощущении находиться вполне «на своем месте», делать то, что должны делать, и делать это с радостью — в объективном и субъективном смыслах — либо в -покорной убежденности, что невозможно делать другое, что также является — разумеется, менее радостным — способом ощущать, что создан для того, что делаешь.

Объективированная, институционализированная история становится действующей и активной только тогда, когда должность — но также орудие труда или 'книга, или даже «роль», социально предписанная и одобренная («подписать петицию», «принять участие в манифестации»), или исторически утвердившийся «персонаж» (интеллектуал-авантюрист или добропорядочная мать семейства, честный функционер или «человек слова») — находит кого-то (подобно одежде или дому), кто находит это интересным и находит здесь свой интерес, кто самого себя находит и узнает себя в этом настолько, что способен отождествиться с ней и взять на себя[15]. Именно поэтому столько действий — и не только действий функционера, отождествляемого с его функцией[16] — предстают как церемонии, посредством которых агенты — не являющиеся однако актерами, исполняющими роли, — воплощают социальный персонаж, которого от них ожидают и которого они ожидают сами от себя (это призвание), и все это благодаря тому полному и непосредственному совпадению габитуса и одежды, которая и делает человека настоящим монахом. Официант не играет в официанта, как того желает Сартр. Надевая свою рабочую одежду, прекрасно выражающую демократизированную и бюрократизированную форму преданного, исполненного достоинства слуги богатого дома, и, придерживаясь церемониала предупредительности и участливости, который может быть стратегией, маскирующей опоздание, оплошность или позволяющей сбить негодный продукт, он не превращается в вещь (или «вещь в себе»).

Его тело, в котором запечатлена определенная история, приравнивается к функции, то есть к некоей истории, традиции, которые он никогда не наблюдал иначе, как воплощенными в телах или, вернее, в одеждах, «заселенных» неким габитусом, именуемым официантами кафе. Это не означает, что он научился быть официантом, подражая другим официантам, конституировавшимся таким образом в модели. Он отождествляет себя с функцией официанта, как ребенок отождествляет себя со своим отцом (социальным) и, даже не нуждаясь в том, чтобы «прикидываться», принимает характерное выражение губ при разговоре или поводит плечами при ходьбе, что, как ему кажется, является составной частью социальной сущности сложившегося взрослого человека[17].

Нельзя даже сказать, что он считает себя официантом: он слишком поглощен функцией, которая была ему естественно (то есть социологически) предписана (например, как сыну мелкого коммерсанта, которому необходимо заработать, чтобы основать самостоятельное дело), чтобы осознать эту дистанцию. В то же время стоит в его положении оказаться какому-либо студенту (мы их встречаем сейчас во главе некоторых «авангардистских» ресторанов), и увидим, как тот тысячей жестов станет подчеркивать дистанцию, которую будет стремиться сохранить, стараясь как раз изобразить свое положение в виде роли по отношению к функции, которая не соответствует представлению (социально конституированному), сложившемуся у него о своем существовании, то есть о своей социальной судьбе, для которой он не чувствует себя созданным и в которую он, по словам сартровского потребителя, не желает «быть навечно заточенным».

И в доказательство того, что отношение интеллектуала к позиции интеллектуала не отличается какой-то особой природой и что интеллектуал не больше, чем официант, дистанцируется от своего занятия и от того, что по существу его определяет, то есть сохраняется иллюзия дистанции по отношению ко всем занятиям, достаточно прочесть как антропологический документ[18] анализ, в котором Сартр продолжает и «универсализирует» знаменитое описание официанта кафе: «Как бы я ни старался выполнить функции официанта кафе, я могу им быть только в нейтрализованной форме (как актер — Гамлетом), механически воспроизводя жесты, типичные для моего положения, и рассматривая себя как воображаемого официанта кафе лишь через эти жесты, воспринимаемые как «analogon»[iii]. То, что я пытаюсь реализовать, это существо-в-себе-самом официанта кафе, как если бы было не в моей власти придать ценность и неотложность связанным с моим положением обязанностям и правам, и как если бы мое решение каждое утро вставать в пять часов или оставаться в постели, рискуя быть уволенным, не зависело от моего свободного выбора. Как если бы оттого, что я поддерживаю существование этой роли, я не выходил бы повсеместно за ее рамки, не конституировал бы самого себя как бы зашедшего по ту сторону моего положения. Однако нет сомнения в том, что в определенном смысле я есть официант кафе, а если нет, то не мог ли бы я столь же обоснованно называть себя дипломатом или журналистом?»[19]

Следовало бы останавливаться на каждом слове такого рода чудесного продукта социального бессознательного, которое в результате двойной игры, допустимой благодаря образцовому использованию феноменологического «я», проецирует сознание интеллектуала в практику официанта кафе или в воображаемый analogon этой практики, производя некую социальную химеру — чудовище с телом официанта и головой интеллектуала[20]: неужели нужно обладать свободой оставаться в постели, не подвергаясь риску быть уволенным, чтобы открыть для себя того, кто встает в пять часов утра, до прихода клиентов подметает помещение и включает кофеварку, тем самым как бы освобождаясь (свободно ли?) от свободы оставаться в постели, несмотря на угрозу быть уволенным?

Нетрудно распознать здесь логику нарциссического отождествления с фантазмом, согласно которой иные производят сегодня рабочего, целиком и полностью вовлеченного в «борьбу», или, наоборот, путем простой инверсии, как в мифах, рабочего, безнадежно смирившегося с тем, кто он есть, со своим «бытием в себе», лишённого той свободы, которая другим дается фактом располагать в числе прочих возможностей такими позициями, как у дипломата или журналиста[21].

Это означает, что в случае более или менее полного совпадения между «призванием» и «миссией», между «спросом», чаще всего имплицитным, молчаливым и даже тайным образом заключенным в позиции, и «предложением», скрытым в диспозициях, напрасно было бы стараться отличить то, что в практической деятельности обязано влиянию позиций, от того, что объясняется влиянием диспозиций, привносимых агентами в эти позиции, и способных определять восприятие и оценку ими позиции, следовательно, и их способ удерживать эту позицию, а тем самым и саму «реальность» позиции.

Эта диалектика, как ни парадоксально, не проявляется никогда столь отчетливо, как в случае с позициями, находящимися в зонах неопределенности социального пространства, а также в случае с профессиями, слабо «профессионализированными», то есть еще недостаточно определенными как с точки зрения доступа к ним, так и с точки зрения условий их выполнения: эти должности, скорее, еще подлежащие созданию, чем созданные, учрежденные, чтобы создаваться, предназначены для тех, кто является и чувствует себя приспособленным для готовых должностей, кто, в соответствии со старыми альтернативами, выступает против готового и за создаваемое, против закрытого и за открытое[22].

Определение этих плохо обусловленных, плохо отграниченных, плохо защищенных должностей заключается, как ни парадоксально, в свободе, какую они предоставляют занимающим их определять и отграничивать, свободно устанавливая их границы, определение и привнося всю ту инкорпорированную необходимость, которая является составляющей их габитуса.

Эти должности будут тем, чем являются их занимающие, или, по крайней мере, те из них, кому удастся во внутренней борьбе в «профессии» и в конфронтациях с соседствующими и конкурирующими профессиями навязать самое благоприятное с точки зрения того, что они есть, определение профессии. Это зависит не только от них и от их конкурентов, то есть не только от соотношения сил внутри поля, где они располагаются, но и от соотношения сил между классами, которое вне всякой сознательной стратегии «восстановление контроля» определит не только социальный успех,

получаемый от различных благ и услуг, произведенных в процессе борьбы и ради борьбы с ближайшими конкурентами, но и институциональную инвестицию, которой удостоится те, кто их произвел. А институционализация «спонтанных» размежеваний, которая постепенно происходит под воздействием фактов, то есть санкций (положительных или отрицательных), налагаемых на предприятия существующим общественным порядком (субсидии, заказы, назначения, зачисления в штат и т. д.), приводит к тому, что впоследствии проявится как новое разделение труда в сфере доминирования, план которого не мог бы возникнуть в головах даже самых рассудительных и вдохновенных технократов[23].

Таким образом оказывается, что социальный мир изобилует институциями, которых никто не задумывал и не желал, и даже явные «руководители» которых не могут сказать — даже после всего свершившегося и во имя ретроспективной иллюзии — как была «изобретена формула», удивляются сами, что они [институции — Перев.] могут существовать в виде, в котором существуют, будучи столь хорошо приспособленными к тем целям, которые их создатели никогда формально не ставили[24].

Но эффект диалектики отношений между наклонностями, вписанными в габитусы, и требованиями, обусловленными определением должности, не менее существенны, хотя и менее заметны в наиболее регламентированных и закостеневших секторах социальной структуры, например, в наиболее давних и кодифицированных профессиях служащих государственных учреждений.

Так, далеко не являясь механическим продуктом бюрократической организации, некоторые наиболее характерные для поведения мелких служащих черты, будь то тенденция к формализму, фетишизм пунктуальности или строгое отношение к регламентации, есть проявления, в логике ситуации наиболее благоприятной для ее перехода к действию, системы диспозиций, которая также обнаруживается и вне бюрократической ситуации и которой было бы достаточно, чтобы предрасположить представителей мелкой буржуазии к добродетелям, требуемым бюрократическим порядком и превозносимым идеологией «общественной службы», таким, как честность, аккуратность, ригоризм и склонность к моральному возмущению[25].

Эта гипотеза нашла экспериментальное подтверждение в происшедших в течение последних нескольких лет трансформациях в различных государственных службах, в частности, в Почтовой службе, в связи с появлением у молодых мелких служащих, оказавшихся жертвами структурной декартификации, диспозиций, менее соответствующих ожиданиям институции[26].

Следовательно, нельзя понять функционирования бюрократических институций иначе, как путем преодоления надуманного противопоставления «структуралистского» видения, пытающегося отыскать в морфологических и структурных характеристиках основу «железных законов» бюрократии, рассматриваемых как механизмы, способные ставить собственные цели и навязывать их агентам, видению «интеракционистскому» или социально-психологическому, стремящемуся представить бюрократическую практику как продукт стратегий и взаимодействий агентов, игнорируя при этом как социальные условия производства этих агентов (и в рамках, и вне рамок институции), так и институциональные условия осуществления их функций (такие, как формы контроля за рекрутированием, продвижением по службе или оплатой труда).

Правда, специфика бюрократических полей как относительно автономных пространств, образуемых институционализированными позициями заключается в присущей этим позициям (определяемым их рангом, движущей силой и т. д.), способности добиваться от занимающих их людей выполнения всех практических действий, входящих в определение их должности, и все это — под непосредственным и очевидным, а следовательно, и ассоциируемым обычно с идеей бюрократии, воздействием распоряжений, директив, циркуляров и т. д. и особенно под воздействием совокупности механизмов призвания-кооптации, позволяющих адаптировать агентов к их должностям, или, точнее, их диспозиции к их позициям, а затем добиться от определенного органа официальной власти признания этих — и только этих — практических действий.

Но даже в подобном случае было бы такой же ошибкой пытаться понять практические действия (обусловленные данным моментом времени, то есть являющихся результатом завершения некоторой истории в том, что касается их числа, юридического статуса и т. д.), исходя из имманентной логики пространства, как и пытаться объяснить их лишь на основе «социально-психологических» диспозиций агентов, особенно, если они отделены от их условий производства. В действительности же здесь

имеешь дело с исключительным случаем более или менее «удачного» столкновения между позициями и диспозициями, то есть между объективированной историей и историей инкорпорированной: тенденция бюрократического поля к «перерождению» в «тоталитарную» институцию, требующую полного и механического отождествления (*reinde as cadaver[iv]*) «функционера» с функцией, аппаратчика с аппаратом, не связана механическим образом с морфологическими воздействиями, размеры и число которых способны оказывать влияние на структуры (например, посредством ограничений, накладываемых на коммуникацию) и на функции; эта тенденция может проявляться лишь в той мере, в какой она совпадает либо с сознательным сотрудничеством некоторых агентов, либо с бессознательным соучастием их диспозиций (что оставляет место для освобождающего воздействия осознания).

Чем больше удаляешься от обычного функционирования полей как полей борьбы в направлении пограничных и, несомненно, никогда не достигаемых состояний, когда, с прекращением всяческой борьбы и сопротивления доминированию, поле все ужесточается, сводясь к «тоталитарной институции» — в понимании Гоффмана, или — в строгом понимании — к аппарату, который в состоянии требовать всего без всяких условий и уступок и который в своих крайних формах: тюрьма, казарма или концентрационный лагерь располагает средствами символического и реального уничтожения «ветхого человека», — тем больше институция стремится пожертвовать своими агентами, которые все отдают институции (например, «Партии» или «Церкви») и которые тем легче приносят эту жертву, чем меньше у них капиталов вне институции, а следовательно, и свободы по отношению к ней и к тем специфическим выгодам и капиталу, какие он им предлагает[27].

Аппаратчик, всем обязанный аппарату, — это аппарат, ставший человеком, и на него можно возложить самую высокую ответственность, потому что он, добиваясь осуществления своих интересов, ничего не может делать, не способствуя *eo ipso* защите интересов аппарата: как монах, он предрасположен к тому, чтобы в полной убежденности охранять институцию против еретических отклонений тех, кому капитал, приобретенный вне институции, позволяет и кого подбивает дистанцироваться от верований и внутренней иерархии[28].

Короче, в случаях, наиболее благоприятных для механицистского описания практических действий, анализ вскрывает некоего рода бессознательное взаимоприспосабливание позиций и диспозиций, составляющее истинную основу функционирования институции, даже в том, что ему сообщает трагическую видимость адской машины.

Именно поэтому наиболее способствующие отчуждению, наиболее отталкивающие и близкие к каторжному труду условия работы тем не менее находят рабочего, который на них соглашается, берется за их исполнение, воспринимает, оценивает, обустривает, приспособливает их к себе и сам к ним приспособливается в соответствии с собственной историей жизни и даже с историей всего своего рода. Если описание наиболее отчуждающих условий труда и наиболее отчужденных рабочих звучит так часто фальшиво — и прежде всего в том, что не позволяет понять, почему вещи продолжают оставаться такими, какие они есть — то это оттого, что оно, следуя логике химеры, способно показать молчаливое согласие, которое устанавливается между наиболее бесчеловечными условиями работы и людьми, подготовленными нечеловеческими условиями своего существования к тому, чтобы их принять.

Диспозиции, запечатленные посредством первого опыта социального мира, способные при определенном стечении обстоятельств предрасположить молодых рабочих принять и даже пожелать войти в мир труда, отождествляемый с миром взрослых, усиливаются затем самим опытом их трудовой деятельности и всеми изменениями в диспозициях, которые он за собой влечет (и которые можно осмысливать по аналогии с описанными Гоффманом как составляющими процесса «*asilisation*»[v] изменениями). Здесь следовало бы напомнить весь процесс инвестирования, который подталкивает рабочих к тому, чтобы способствовать собственной эксплуатации уже самим своим усилием, направленным на овладение трудом и условиями своего труда, которое заставляет их привязываться к своей профессии (во всех смыслах этого слова) в силу тех самых свобод (часто ничтожных и почти всегда «функциональных»), которые им предоставляются, а также, разумеется, под влиянием конкуренции, вызываемой различиями (между специализированными рабочими, иммигрантами, рабочими-женщинами и т. д.), присущими профессиональному пространству, функционирующему как поле.

Действительно, если исключить предельные ситуации, граничащие с принудительными работами, видно, что объективная правда наемного труда — эксплуатация — становится отчасти возможной благодаря тому, что субъективная правда труда не совпадает с его объективной правдой. Об этом свидетельствует вызываемое ею (эксплуатацией) возмущение: профессиональный опыт, когда трудящийся не ждет от своего труда (и от окружающей его рабочей среды) ничего, кроме зарплаты, переживается им как нечто калечащее, патологическое и невыносимое, потому что нечеловеческое[29].

То объективирующее усилие, которое потребовалось, чтобы конституировать наемный труд в его объективной правде эксплуатируемого труда, заставило того, кто его осуществил, забыть, что эта правда должна была быть завоевана в борьбе против субъективной правды труда, совпадающей с объективной правдой лишь в пределе. Именно об этом пределе упоминает Маркс, когда замечает, что исчезновение разброса в нормах прибыли предполагает мобильность рабочей силы, которая в свою очередь предполагает, среди прочего, «безразличное отношение рабочего к содержанию его труда; возможно большее сведение труда во всех сферах производства к простому труду, освобождение рабочих от всех профессиональных предрассудков...»[30].

При этом нельзя не вспомнить о существовании инвестирования в сам труд, что приводит к тому, что труд становится способным приносить специфическую прибыль, не сводимую к денежной прибыли: этот «интерес» к труду, который частично создает «интерес» факту трудиться, и который является отчасти следствием иллюзии, присущей участию в определенном поле, способствует тому, что труд, несмотря на эксплуатацию, становится приемлемым для рабочего. Такое инвестирование в труд нередко способствует и возникновению определенной формы самоэксплуатации. Оно приводит к тому, что деятельность (например, у артиста или интеллектуала) переживается как свободная и незаинтересованная при соотнесении с узким определением интереса, отождествляемого с материальной прибылью, с зарплатой, в действительности предполагает подсознательное соглашение между диспозициями и позициями. Это практическое взаимоприспособление[31], являющееся условием инвестирования, интереса (в противоположность безразличию) к обусловленной рабочим местом деятельности оказывается, например, реализованным, когда такие диспозиции, которые Маркс называет «предрассудками профессионального призвания» и которые приобретаются в определенных условиях (например, в случае передаваемой по наследству профессии), находят условия своей актуализации в некоторых характеристиках самого труда, таких, как определенная свобода действий в организации производственных заданий или некоторые формы конкуренции в рамках трудового пространства (премии или чисто символические привилегии, как те, что предоставляются старым рабочим на мелких семейных предприятиях)[32].

Различия в диспозициях, равно как и различия в позициях (с которыми они часто связаны) лежат в основе различий в восприятиях и оценках, а тем самым — и совершенно реальных размежеваниях[33]. Именно поэтому недавняя эволюция промышленного труда в направлении того предела, на который указывал Маркс, то есть в сторону исчезновения «интересного» труда, труда «ответственности» и «квалификации» (и всеми корреляционными иерархиями) весьма по-разному воспринимается, оценивается и принимается теми, чей стаж в рабочем классе, квалификации и относительные «привилегии» заставляют защищать их «завоевания», то есть интерес к работе, квалификацию, а также иерархии, и тем самым существующий порядок, и теми, кому нечего терять. Последние, будучи лишены квалификации и весьма близкими к народной реализации популистской химеры, подобны тем молодым людям, кто, пройдя через более длительный период школьного обучения, чем те, кто старше их, более склонны радикализировать борьбу и ставить под сомнение всю систему, — или же тем, наконец, кто, будучи также совершенно обездоленными, как рабочие первого поколения, женщины и особенно иммигранты[34], отличаются терпимостью к эксплуатации, казалось бы, характерной для другой эпохи[35].

Короче, в самых крайних условиях принуждения, внешне наиболее благоприятных для механицистской интерпретации, когда трудящийся сводится к его рабочему месту и непосредственно выводится из его же рабочего места, активность сводится к установлению отношений между двумя историями, а настоящее — к встрече двух видов прошлого[36].

Wesen ist was gewesen ist[vi]. Можно понять, что социальное существо является тем, что было, но и то, что однажды было, навсегда вписано не только в историю, что само собой разумеется, но и в социальное существо, в вещи, а также в тела. Образ открытого будущего с бесконечными

возможностями скрывал то, что каждый из новых выборов (идет ли речь о нереализованных актах выбора в условиях *laisser-faire*) способствует ограничению универсума возможного или, точнее, увеличению веса институтировавшейся в вещах и в телах необходимости, с которой должна считаться политика, ориентированная на другие возможности и, в частности, на те из них, которые ежеминутно отодвигались в сторону.

В процессе институциализации, становления, то есть объективации и воплощения как аккумуляции в вещах и телах всей совокупности исторических приобретений, несущих на себе отпечаток условий своего производства и стремящихся породить условия собственного воспроизводства (хотя бы в силу демонстрации и навязывания потребностей, которые вызываются самим существованием какого-либо блага), постоянно уничтожаются параллельные возможности. По мере развития истории эти возможности становятся все более маловероятными, их реализация — все более трудноосуществимой, поскольку их переход в реальность предполагал бы деструкцию, нейтрализацию и реконверсию более или менее значительной части исторического наследия, которое также является капиталом. О них все труднее даже мыслить, поскольку схемы мышления и восприятия являются в каждый данный момент результатом предшествующих овеществленных актов выбора[37].

Всякая деятельность, нацеленная на противопоставление возможного вероятному, то есть будущее, объективно вписанное в существующий порядок, должна считаться с грузом овеществленной и инкорпорированной истории, которая, как при процессе старения, стремится свести возможное к вероятному. Разумеется, следует непрестанно подчеркивать, имея в виду всевозможные формы технологического детерминизма, что потенциальные возможности, предлагаемые относительно автономной логикой научного развития, могут обрести социальное существование только в виде технических достижений и выступать, если представится случай, в роли фактора экономических и социальных изменений опять же только в том случае, если тем, кто обладает экономической властью, они покажутся отвечающими их интересам, то есть способными содействовать максимальной прибыли на капитал в рамках воспроизводства социальных условий господства, необходимых для присвоения доходов[38].

И все же, в качестве завершения длительной серии актов социального выбора, выражающейся в форме совокупности технических потребностей, технологическое наследие стремится стать настоящей социальной судьбой, исключающей не только некоторые возможности, находящиеся еще в состоянии возможности, но и реальную возможность исключения множества уже реализовавшихся возможностей. Достаточно напомнить о ядерных электростанциях, которые, будучи построены, заявляют о себе тем, что не только выполняют свои технические функции, но и создают всевозможные формы соучастия тех, кто тесно связан с ними или с их продукцией. Можно также напомнить о том политическом выборе, который наметился с 60-х годов, значительно облегчив процедуру приобретения недвижимой собственности и обеспечив самые высокие прибыли банкирам и особенно изобретателям «персонализированного кредита». Все это — вместо того, чтобы продолжать проводить политику социального жилья. Одним из последствий этого выбора, помимо прочего, было то, что он способствовал усилению лояльности части членов господствующего класса, а также средних классов по отношению к существующему политическому строю, который казался им наиболее подходящим, чтобы гарантировать их капитал. Итак, с каждым днем власти констатируют рост необратимых изменений, с которыми вынуждены считаться те, кому вдруг удастся ее свергнуть.

Это хорошо видно на ситуациях постреволюционных периодов, когда овеществленная и инкорпорированная история оказывает глухое или подспудное сопротивление реформистским или революционным диспозициям и стратегиям, также в значительной мере обусловленным все той же историей, против которой они направлены. Институтированная история неизменно одерживает верх над частичными, точнее, односторонними революциями. Даже при самых радикальных изменениях в условиях присвоения орудий производства у инкорпорированной истории остается возможность незаметно восстановить объективные (экономические и социальные) структуры, продуктом которой эти изменения являются. С другой стороны, известно, что происходит с политикой, рассчитывающей на трансформацию структур в результате простой конверсии диспозиций[39].

Революционные и постреволюционные ситуации изобилуют многочисленными примерами патетических или гротескных несовпадений между историей объективированной, и историей инкорпорированной, между габитусами, созданными для других должностей, и должностями, созданными для других



габитусов, которые наблюдаются также при любом общественном порядке, хотя и в меньших масштабах, и особенно в зонах неустойчивости социальной структуры. Во всех этих случаях деятельность носит характер борьбы между историей объективированной и историей инкорпорированной, , борьбы, иногда длящейся всю жизнь — за то, чтобы сменить должность или самому измениться, чтобы завладеть должностью или самому быть превращенным ею в собственность (хотя бы для того, чтобы завладеть ею, трансформируя ее). История творится в этой борьбе, в этой неявной битве, в ходе которой .должности более или менее полно формируют тех, кто их занимает и стремится ими завладеть, когда агенты более или менее полно изменяют должности, перекраивая их по своим меркам.

История творится во всех этих ситуациях, когда отношение между агентами и их должностями основывается на некотором недоразумении: это те руководители самоуправляющихся фирм, министры, служащие, которые сразу же после освобождения Алжира вступали в должность, в обличье колониста, директора, комиссара полиции, позволив чужеземной истории собой завладеть через акт повторного овладения[40]; это те освобожденные работники ВКТ, которые, как показывает Пьер Гам, прекрасно «узнают самих себя» в силу их классовых диспозиций в «Примирительном совете», одном из многочисленных институтов, созданных в XIX веке по инициативе «просвещенной» части господствующего класса в надежде «примирить» хозяев и рабочих; этот типично патерналистский вид правосудия, обеспечиваемый «семейным трибуналом», в явной форме уполномоченным для отправления «отеческой» власти и урегулирования спорных вопросов путем совета и примирения на манер семейных советов и путем «десоциализации» конфликтов, встречает со стороны рабочих ожидание ясного и быстрого судопроизводства, а со стороны их профсоюзных представителей — «заботы о создании благопристойного образа рабочего класса»[41].

Таким образом овеществленная история играет на ложном соучастии, которое объединяет ее с инкорпорированной историей, чтобы завладеть самим носителем этой истории: то же происходит, когда руководители в Праге или в Софии воспроизводят мелкобуржуазный вариант буржуазной роскоши. В основе своей такие хитрости исторического разума[42] основаны на эффекте *allodoxia*, возникающей из случайного и неосознаваемого столкновения независимых исторических рядов. Как видно, история также является наукой о бессознательном. Выводя на свет все, что скрывается как за доксой — непосредственным соучастием с собственно историей, так и за аллодоксией — ложным узнаванием, основанным на непознанном отношении между двумя историями, располагающим к тому, чтобы узнавать себя в другой истории — в истории другой нации или другого класса, — историческое исследование вооружает нас средствами истинного осознания или, более того, истинного самообладания.

Мы без конца попадаем в ловушку смысла, который формируется вне нас, без нас, в неконтролируемом соучастии, объединяющем нас, историческую вещь с историей-вещью. Объективируя все, что есть социально-немыслимого, то есть забытую историю, в самых обычных или самых ученых идеях — в омертвевших проблематиках, лозунгах, общих местах, — научная полемика, вооруженная всем тем, что произвела наука в постоянной борьбе с самой собой и с помощью чего она превосходит самое себя, предоставляет тому, кто ее ведет, и тому, кто ее на себе испытывает, возможность узнать, что он говорит и что делает, возможность действительно стать субъектом своих слов и действий и покончить с тем, что еще остается необходимого в социальных вещах и в идее о социальном.

Свобода заключается не в магическом отрицании этой необходимости, а в ее познании, что не обязывает и не предоставляет права ее признавать: научное познание необходимости заключает в себе возможность деятельности, направленной на ее нейтрализацию, а, следовательно, и возможную свободу. Тогда как непризнание необходимости предполагает самую абсолютную форму признания: пока закон игнорируется, результат свободы действия, этой соучастницы вероятного, проявляется как судьба; когда же он познан, этот результат проявляется как насилие.

Социология все еще полностью остается тем, что из нее часто делают, — наукой, стремящейся к развенчанию, по выражению Монтеня, «мыслей, родившихся на кухне», подозрительным и злым взглядом, лишаящим мир его очарования и уничтожающим не только ложь, но и иллюзии, предвзятостью «редукции», облаченной в добродетель непреклонной мысли только в той мере, в которой она способна и себя самое подвергать такому же допросу, какому она подвергает любую практику. Можно постигнуть истины интереса, лишь согласившись на постановку вопроса об интересе

для истины, и лишь проявив готовность рисковать наукой и ученой респектабельностью, превращая науку в орудие, служащее, чтобы ее самое подвергать сомнению. И все это — в надежде обрести свободу по отношению к той негативной и демистифицирующей свободе, какую дает наука.

[i] уход в бесконечность (лат.)

[ii] история деяний, прагматическая история в противоположность культурной истории (истории культуры) (лат.).

[iii] заменитель, субститут чего-либо (фр.).

[iv] подобно трупу (лат.).

[v] «помещением в дом умалишенных». — Прим. перев.

[vi] Существо есть то, что существовало (нем.).

[1] Несомненно, именно в работе мобилизации, точнее, единения и универсализации и зарождается множество представлений (в их психологическом, а также правовом и театральном смысле), которые складываются у групп (и, в частности, у доминируемых классов) относительно их самих и их единства и которые затем конденсируются ими в целях борьбы (совершенно отличных от целей научного анализа) в «форс-идеи» или символы объединения («рабочий класс», «пролетариат», «кадры», «МСП» и т. д.) и в таком виде нередко используются в высказываниях, вплоть до самых «ученых», о мире социального. Так, когда, в силу подобного рода склонности к социальному романтизму, столь часто одушевляющему социальную историю, говорят о «рабочем движении», превращая эту сущность в коллективного субъекта непосредственно политизированной культуры, то рискуют завуалировать социальный, генезис и социальную функцию этого стенографического обозначения представления, посредством которого рабочий класс участвует в производстве себя как такового (пусть здесь вспомнят о таких сложных операциях социальной алхимии, как представительство и манифестация), и частью которого, в качестве его условия и продукта, является то, что иногда также называют «рабочим движением», то есть совокупность синдикалистских или политических организаций, которые апеллируют к рабочему классу и функция которых заключается в том, чтобы представлять рабочий класс. Что же касается пессимистической мифологии и функционализма наихудшего толка, которым она направляется, то их успех, очевидно, определяется высокой эффективностью в полемике: они и в самом деле прекрасно применимы к противникам, которых необходимо дискредитировать, противопоставляя им извне принцип, лежащий в основе их высказываний, публикаций и действий (например, «бумагомарака из епископата», «лакей капитализма»). Они также хороши в борьбе с такими институтами, как Церковь, которую обычно антиклерикализм представляет как стоокое и сторукое учреждение, целиком ориентированное на реализацию своих объективных, то есть временных и политических целей. В то время, как именно в их внутренней борьбе — как мы постараемся это показать в одной из ближайших работ — и через внутреннюю борьбу, цели которой не являются и никогда не могут являться исключительно и имплицитно временными, духовными лицами, вовсе не обязательно мыслящими их как таковые, вырабатываются стратегии, способные содействовать обеспечению экономических и социальных условий их собственного социального воспроизводства.

Чтобы понять, например, то, что описывается как «сдвиг Церкви влево» или «католичество», нужно заполучить средства для объяснения бесчисленных случаев индивидуальных превращений, через которые должны были пройти светские (а также духовные) лица, чтобы включить политику в их определение религии: роль духовных лиц, также вовлеченных в эту работу превращения, заключалась в том, чтобы сопровождать и оркестрировать это движение, — задача для них тем более легкая, что, будучи профессионалами религиозного слова, они хорошо подготовлены для словоизлияний, а структура их организации воспроизводила, следуя логике клерикального поля, опыт, трансформации и оппозиции светского мира.

[2] «Ученые и философы, весьма склонные к обобщениям, классификациям, и очень плодовитые в создании новых слов и новых этикеток для обозначения воображаемых ими видов и классов, не являются теми, кто обеспечивает реальный прогресс в науках и философии. Нужно, следовательно, чтобы действительно активный принцип, принцип плодотворности и жизни — во всем, что способствует развитию разума и философского духа, — не усматривался лишь в способности абстрагировать, классифицировать и обобщать. Рассказывают, что великий геометр Жан Бернулли, с горечью обнаружив, что его современник Вариньон по всей видимости хотел присвоить себе его открытия под предлогом их обобщения, о чем не позаботился сам автор и для чего не требовалось больших творческих усилий, хитро заметил, заканчивая свое очередное выступление: «Вариньон нам все это обобщит» (Cournot A. A. *Oeuvres complètes*. T. II. Edité par J. C. Portents, Paris: Vrin. P. 20).

[3] Одним из тысячи примеров этого может служить жанр автобиографии. Нельзя, представляя «Исповедь» Руссо, не задать вопрос: не положило ли это произведение начало автобиографическому жанру? А также не вспомнить тотчас о Монтене или Бенвенуто Челлини, или — все более удаляясь во времени и пространстве — о святом Августине и оказаться обойденным эрудитом (немцем), который в монументальной истории автобиографии (пример не выдуман) покажет, что истоки жанра следует искать на Ближнем или Среднем Востоке и отыщет его первые наметки в седьмом письме Платона или в «Бруте» Цицерона. И избавиться от этого *regressio ad infinitum* (движение назад до бесконечности  $\frac{3}{4}$  лат.) можно, только заменив вопрос об абсолютных истоках жанра вопросом о происхождении «современной» автобиографии. Но как начинать отсчет «современности» и «модернизма» с Руссо, не вспомнив сразу же, что на звание «первого из современных» авторов могут претендовать святой Августин и Петрарка, не говоря уже о Монтене, «модернизм» которого несколько отличен. А это обязывает задать вопрос: когда начинается современная «современность». И в этом — вся жизнь эрудита.

[4] Такого рода подспудная проблематика затрагивается в исследовании Натали Хейниш о конституировании поля французской живописи в XVII веке, которое вскоре должно появиться в печати.

[5] Один из позитивных аспектов объективации отношения к предмету, с которым, следуя строгому методу, считается историк, как и социолог, заключается в том, что она позволяет вооружиться против спонтанной формы философии истории (и практики), которая определяет самый элементарный научный выбор: именно здесь социология и история социологии и истории (и в частности, избираемая ими обязательная проблематика, понятия, которые в них используются, разрабатываемые ими методы, а также социальные условия, в которых они используют это наследство), играют определяющую роль. Если эта полемика научного разума может также применяться против оппонентов, давая повод для своеобразных недоразумений, когда «жертвы» защищаются, отождествляя себя с жертвами полемики и даже политического террора, эта полемика, тем не менее, направлена прежде всего против того, кто ее ведет, против всего, что у него есть общего с тем, что он описывает. И от чего тот имеет некоторый шанс освободиться только путем настойчивой критики предмета науки, то есть границ, вписанных в социальные условия ее производства. (Такое исследование границ, лежащее в центре рационалистического проекта, каким он представлялся Канту, прямо противоположно релятивистскому прочтению, как то часто было с неокантианскими работами в области исторической науки — всеми этими общими местами об историчности историка.)

[6] Следовало бы проанализировать, какой смысл имеется в самом факте написания слова Революция в единственном числе и с большой буквы и, в частности, в самой гипотезе, согласно которой была одна революция, единая и неделимая, там, где можно было бы увидеть целую совокупность революций (крестьянские жакерии, голодные бунты, заговоры нотаблей и т. д.), отчасти синхронизированных и грубо сочлененных друг с другом, что приводит к исчезновению вопроса о характере отношений между всеми этими революциями.

[7] Bois P. *Paysans de L'Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l'époque révolutionnaire*. Paris: La Haye, Mouton and C°, 1960. (Замечательно, что эта книга историка вдохновлена эксплицитным стремлением исторически осознать определенный социальный факт настоящего и поэтому вынуждена объективировать и — в большей мере, чем это обычно делается — контролировать коррелирующие эффекты.)

[8] Panovsky E. *Essais d'iconologie, les thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance*. Paris: Gallimard, 1967. P. 15.

[9] Hartmann N. *Das Problem des geistigen Seins*. Berlin: de Gruyter, 1933. S. 172.

[10] Это, мне кажется, то, что поздний Хайдеггер и Мерло-Понти (особенно в «Видимом и невидимом») стремились выразить на языке онтологии, то есть нечто «дикое» и «варварское» — я бы сказал просто: практическое — находящееся по «эту сторону» интенционального отношения к объекту.

[11] Elias N. *La société de cour*. Paris: Calmam-Levy, 1974. P. 75-76.

[12] Единственная, оставляемая игрой абсолютная свобода, — это свобода выйти из игры посредством героического отказа, который, если только не основать новой игры, поддерживает атараксию (душевную невозмутимость. — Прим. перев.) лишь ценою того, что с точки зрения игры и *illud* является социальной смертью.

[13] «Король не удовлетворяется только иерархическим порядком, унаследованным от своих предшественников. Этикет ему предоставляет некоторую свободу маневра, которой он пользуется, определяя долю престижа каждого, даже в делах незначительной важности. Он извлекает выгоду из психологических ситуаций, являющихся отражением иерархических и аристократических структур общества, а также из соперничества придворных, постоянно борющихся за престиж и благосклонность, для того чтобы, умело дозируя знаки внимания, изменять значимость членов придворного общества и их ранг в зависимости от потребностей своей власти, тем самым создавая внутри общества напряженность и по желанию смещая центры равновесия» (Elias N. *Op. cit.* P. 77-78).

[14] Несомненно, теория Аппаратов отчасти обязана своим успехом тому, что благодаря ей стало возможным абстрактное отвержение Государства и Школы, обеляющее бесчестье агентов и позволяющее им жить в раздвоении между профессиональной деятельностью и политическим выбором.

[15] Вспомним Маркса, ссылающегося на революционеров 1789 г. и их римские образцы, и подумаем о том, что бы он сказал, увидев события 1968 г., и всех персонажей, прямо сошедших с экранов фильмов.

[16] Функционер, напоминаящий, что «регламент есть регламент», настаивает на требуемом регламентом отождествлении «личности» с регламентом, в ответ на чьи-либо апелляции к его «личности», его чувствам, его «пониманию», его «снисходительности» и т. д.

[17] Как это прекрасно показывает Карл Шорске в случае с Фрейдом (Schorske C. *Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture*. New York: A. Knopf, 1980. P. 181-203), возникающие на пути идентификации «психологические» и социальные препятствия неразрывно взаимопереплетены и должны были бы учитываться в комплексе в исследованиях, направленных на выявление причин отклонений от траектории, вписанной в социальную наследственность («неудачники», которые, правда, с другой точки зрения, могут оказаться удачниками, скажем, когда сын банкира становится артистом или художником).

[18] Есть некоторая несправедливость в том, что мы используем в качестве объекта нашего анализа текст, чье достоинство состоит в исчерпывающем объяснении — отсюда и наш интерес к нему — самых скрытых и даже самых секретных сторон жизненного опыта социального мира, частичные или неяркие проявления которого можно наблюдать каждый день.

[19] Sartre J.-P. *L'Être et le néant*. Paris: Gallimard, 1942. P. 100.

[20] Сразу видна полезность замены лично-безличного «я», оставляющего широкий простор для фантазмагорических проекций, осуществляемых социально определенным субъектом (коммерческими служащими, руководящими кадрами частного сектора).

[21] Как я уже пытался показать в другом месте, эта склонность придавать «интеллигентность» отношению к положению рабочего для отношения к этому положению самого рабочего, не обязательно исчезает в связи с занятием места рабочего на какое-то время в качестве наблюдателя или актера. (Исключение составляет книга Николая Дюбоста «Флинс без конца...», что делает ее замечательным

документом, вскрывающим, среди прочего, логику мифологизации и демифологизации рабочего класса.)

[22] Всегда имеется спонтанная философия истории — и философия истории своей истории, то есть своей позиции и своей траектории в социальном пространстве. Эта своего рода «центральная интуиция», которая позволяет сориентироваться в отношении великих «теоретических» или «политических» альтернатив [данного] момента (детерминизм — свобода, «структурализм» — спонтанность, ФКП — гошисты и т. д.) и в которой самым непосредственным образом выражается отношение к социальному миру, лежит в основе видения социального мира и принятия политических позиций, но также в основе внешне самых элементарных и безобидных решений в области научной практики. (Научность социальной науки измеряется ее способностью констатировать такого рода альтернативы в качестве объекта и воспринимать социальные детерминанты актов выбора, которые определяются по отношению к этим альтернативам. И одна из трудностей письма в случае общественных наук связана с тем, что оно должно попытаться не подтвердить заранее и разоблачить прочтение, обусловленное в ходе анализа шаблонами, которые оно стремится объективировать.)

[23] Надо было бы [и надо будет] под этим углом зрения проанализировать всю трансформацию в отношениях между доминирующими и доминируемыми фракциями внутри доминирующего класса, которая имела место во Франции в течение последнего двадцатилетия, то есть постепенное сокращение под влиянием различных факторов относительной автономии интеллектуального поля, — сокращение, самым значительным показателем которого является, несомненно, появление бюрократического мецената и в соответствии с этим — повышение веса (по крайней мере численно) интеллектуалов, непосредственно, а иногда и административно, связанных с тем или иным бюрократическим заказом. Основным последствием прямого финансирования исследований, осуществляемого под контролем специализированных функционеров, могло бы стать приучение исследователей к признанию определенной формы прямой зависимости от властей и внешних по отношению к самому производственному полю требований. Такие последствия возможны только при соучастии самих научных работников, точнее, благодаря соучастию между научными работниками (или, по крайней мере, теми из них, кто был больше всего заинтересован в гетерономии — по отношению к какой бы то ни было внешней власти) и авангардом технократии от науки, которую ее противодействие (социально оправданного) доминирующим секторам бюрократии толкает на то, чтобы содействовать восстановлению (как выражается Жан-Клод Шамбордон) «технократического дискурса» перед лицом дискурса технократического. Для того, чтобы это преодолеть и порвать с различными формами философии истории, которые путем возведения исторических процессов на большую высоту (или придания им глубины) тем самым ставят агентов с их часто неуловимой и едва ощутимой долей самостоятельности вне игры, следовало бы одновременно проанализировать структурные изменения (подобные изменениям, происшедшим в поле высших школ Grande Ecoles и в сфере воспроизводства размежевания внутри доминирующего класса) и бесконечную серию дифференцирующих социальных изменений, которые, незаметно накапливаясь, кладут начало совершенно новому состоянию интеллектуального поля и его отношений с полем экономической и политической власти. Следовало бы также проанализировать те неощутимые сдвиги, в результате которых менее чем за 30 лет интеллектуальное поле из состояния, когда было столь необходимо числиться коммунистом, что для этого даже не нужно было быть марксистом, перешло сначала к состоянию, когда быть марксистом стало столь престижно, что было даже принято «читать» Маркса, и, наконец, к состоянию, когда последним криком моды стал отказ от всего и прежде всего от марксизма. (Сколько в этой истории историй отдельных жизней! Сколько необходимости в этих сменяющих друг друга индивидуальных свободах!)

[24] Это прекрасно показывает, например, Жан Таварес в исследовании (которое должно вскоре появиться в печати), посвященном анализу генезиса и деятельности Католического центра французских интеллектуалов.

[25] См.: Bourdieu P., Passeron J.C.. La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement. Paris: Minuit, 1970. P. 227.

[26] См.: Bourdieu P. La Distinction. Paris: Minuit, 1979. P. 159-165.

[27] См.: Verès-Leroux J. L'art de parti: le parti communiste franc.ais et ses peintres (1947-1954) //Actes de la recherche en science sociales, 1979. 28. P. 33-55 и его же работы, которые посвящены отношениям

между коммунистической партией и ее интеллектуалами.

[28] Принятие позиций различными партиями и их эволюция во времени становятся тем более понятными на основе только внутренней истории штата кадровых работников и закона, стремящегося подчинить успех в аппарате полной адекватности логике аппарата, чем — как в случае Французской коммунистической партии сегодня — значительно в них доля инертных доверителей, бездействующих в силу их приверженности *fides implicita* и самоотречения, или действующих, но лишь время от времени (ср.: Bourdieu P. Op. cit. P. 500 и далее): это «молчаливое большинство», одновременно реальное и отсутствующее, служит гарантом «увриеризма», являющегося излюбленным, особенно когда используется против критики со стороны интеллектуалов, оружием кадровых партийных работников, выходцев из рабочих или из мелкой буржуазии или же представителей интеллигенции, которые, согласно основополагающему закону, тем более охотно вступают первыми в процесс взаимной легитимации, чем меньшим интеллектуальным капиталом они располагают, и поэтому усматривают для себя в объективном и субъективном планах больше пользы в репрессиях относительно более склонных к независимости интеллигентов.

[29] Bourdieu P. et al. Travail et travaittetsirs en Algérie. Paris: La Haye, Mouton and C°, 1963; Bourdieu P. Algérie 60. Paris: Minuit, 1977.

[30] Маркс К. Капитал. Т.3// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, Ч. 1, С. 215.

[31] Это соответствие между диспозициями и позициями не имеет, очевидно, ничего общего с «психологическим» подчинением, описываемым иногда как «наслаждение» («наслаждение фашизмом»), которое позволяет возлагать на доминируемых «ответственность» за испытываемое ими угнетение («власть исходит снизу»).

[32] Логика мобилизации, согласно которой предпочтение отдается тому, что соединяет, в ущерб тому, что разъединяет, очевидно, не объясняет полностью тенденции рабочих организаций к игнорированию различий, связанных с жизненными траекториями. В этом вся логика политизации как усилия, направленного на «деприватизацию» опыта эксплуатации, а также привычка к механицисте кому образу мысли, под влиянием которой даже наиболее тонкие и наиболее строгие попытки анализа условий труда (См., например: CFDT. Les dégâts du progrès. Paris: Seuil, 1977) имеют тенденцию сводить рабочего к его рабочему месту, игнорируя все, чем он обязан своему прошлому и что выходит за рамки его профессионального существования.

[33] «Каким образом специализирующийся рабочий-ремонтник, который обдумывает свою работу, который ее иногда любит, может упрекать капиталистический труд за то же самое, что и рабочий, в течение десяти лет прикованный к конвейеру?» (Dubost N. Op.cit. P. 65).

[34] Здесь также наблюдаются различия в степенях в зависимости от географического и социального происхождения и иммиграционного стажа. (См.: Sayad A. Les trois «âges» de l'immigration algérienne en France //Actes de la recherche en sciences sociales, 1977. 15. P. 59-79)

[35] За внешними синдикалистскими размежеваниями часто скрываются размежевания, с которыми приходится иметь дело различным профсоюзам, и которые по-разному воспринимаются и трактуются их руководителями в зависимости от собственной истории и особенно в зависимости от традиций их организаций. Нет сомнения, что восприятие и оценка как самых различных отрядов рабочего класса — в частности, пролетариата и полупролетариата — так и их возможного вклада в революционную деятельность очень тесно зависят от позиций и социальных траекторий тех, кто, являясь интеллектуалами или активистами, обязан занимать позиции по этим проблемам, а также от их близости либо к «установившемуся» рабочему классу и его требованиям, либо к «нестойкому» рабочему классу с его бунтарством. Так что споры по поводу «обуржуазивания» рабочего класса и другие вопросы философии истории больше говорят о тех, кто в них участвует, чем о предмете спора. (См.: Bourdieu P. Le paradoxe du sociologue// Sociologie et sociétés. XI. 1. Avril 1979. P. 85-94).

[36] Руководствуясь подобной логикой, можно было бы описать отношения между рабочими и профсоюзными или политическими организациями: здесь также настоящее есть выявление двух видов прошлого, которые сами отчасти являются продуктом их прошлого взаимодействия (например, когда пытаются эмпирическим путем измерить степень осознания рабочими в каком-либо

определенном обществе в данный момент времени его деления на классы, или установить, какие представления они имеют относительно своего труда, своих прав, связанных с несчастными производственными случаями, увольнениями и т. д., то сталкиваются с эффектом прошлых действий профсоюзов и партий. И можно предположить, что, будь история другой, она породила бы и другие представления, а в той области, где представления в огромной мере способствуют формированию реальности, и другие реальности). Иначе говоря, представления, которые они имеют об их позициях, зависят от отношения между традициями, свойственными организациям (например, их размежевания), и их диспозициями.

[37] Так, внезапное появление под влиянием студенческих волнений новых форм борьбы, в которых больше места отводится символическим манифестациям, ретроспективно выявило границы (даже цензурные ограничения), установленные рабочим движением, больше полагающимся на уже испытанные формы борьбы для своих отрядов.

[38] Здесь также следует остерегаться прочтения этого процесса в чисто телеологической логике, как это делает определенная наивная, притворно-радикальная критика науки: наука не обслуживала бы так хорошо промышленность (и даже, при случае, военную промышленность), если бы все исследователи (особенно те из них, кому их высокая компетентность, то есть их специфический капитал позволяет и кого побуждает сохранять максимальную дистанцию в отношении внешних заказов) были непосредственно ориентированы на цели, достижению которых в конечном счете смогут служить их открытия (следует также избегать характерной для сторонников криптократического взгляда переоценки способности руководителей рационально оценивать экономические и особенно социальные последствия взятых на вооружение открытий). Исследователи не знают и не признают других целей, кроме интереса (воспринимаемых как бескорыстные и, во всяком случае, предполагающих безразличное отношение к их возможному техническому использованию), который возникает в процессе конкуренции внутри относительно автономного научно-исследовательского поля. И они могут с чистой совестью отвергать как недостойные те формы практического использования их открытий, которые становятся возможными благодаря невольному совпадению некоторых продуктов научного поля и запросов промышленности.

[39] Если верно, что история может пересоздать то, что историей и было создано, то все обстоит так, как если бы требовалось время для уничтожения результатов работы времени, как если бы искусственные ускорения истории, которых в лучшем случае политическая воля может добиться, добровольно усиливая те из имманентных тенденций, которые отвечают ее целям, или нейтрализуя путем насилия те из них, которые действуют в противоположном направлении, уравновешивались за счет тех следов, которые ускорения оставляют в экономических и социальных структурах (тоталитарная бюрократизация) и в умах, и которые, как это видно на примере СССР, оказываются тем более долговечными (и тем более зловещими даже с точки зрения декларировавшихся целей), чем большим было насилие. (См.: Levin M. L'Etat et les classes sociales en URSS, 1929-1933 // Actes de la recherche en sciences sociales, 1976. 1, P. 2-31)

[40] Эксплицитное навязывание нам истории другой страны — «наши предки — галлы» — является лишь крайним и потому карикатурным выражением куда более коварных форм навязывания чужой истории через язык, культуру, но также и через предметы, институции, моду (следовало бы проанализировать под этим углом зрения наиболее скрытые каналы распространения американского империализма).

[41] Cam P. Sociologie des Conseils de prud hommes. Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales. Thèse de troisième cycle, 1980. Un tribunal familial, le conseil de prud hommes.

[42] К ним следовало бы прибавить все те хитрости, которые производят структурные гомологии между различными полями и, в частности, всяческие двусмысленности, которым благоприятствует позиционная гомология между доминирующими-доминируемыми (в рамках поля доминирующего класса) и доминируемыми (в поле классов). Одной из наиболее показательных форм коммуникации в контексте недоразумения, которое делает возможной гомологию позиций при различии в положении, является та, что устанавливается между индивидами, хотя и принадлежащими к различным классам и тем самым глубоко разобщенными, но объединенными общностью неустойчивости их положения в своих классах, что предрасполагает их к восприятию и распространению трансклассовых дискурсов (например, дискурсов религиозных).

Пьер Бурдьё

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОНОПОЛИЗМ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Е.Д. Вознесенской/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 321-330.)

В конце одного своего доклада, с которым я выступил в 1983 г. перед Ассоциацией студентов-протестантов Парижа и где я анализировал логику политического делегирования и опасность монополизации, которую оно в себе таит, я сказал: «Еще предстоит совершить последнюю политическую революцию, революцию против политической клерикатуры и узурпации, которая в потенции заложена в делегировании.» Полагаю, что именно такая революция произошла в странах Восточной Европы в 1989 г., прежде всего в Польше с ее «Солидарностью», но также и с «Новым Форумом» в Германии и с «Хартией-77» в Чехословакии. Эти революции, часто возглавляемые писателями, артистами и учеными, конечной целью своей борьбы имели ту образцовую форму политического монополизма, которая была осуществлена ленинскими и сталинскими аппаратчиками, вооружившимися концептами, извлеченными из марксистской теории.

В отличие от того, что подразумевают обычно при противопоставлении «тоталитаризма» и «демократии», мне думается, что различие между советским режимом в том аспекте, который нас здесь интересует, и режимом партий, который превозносятся под именем демократии, есть лишь различие в степени, и что в действительности советский режим представляет собой самую крайнюю ее степень. Советизм нашел в марксизме концептуальный инструментальный, необходимый для обеспечения легитимной монополии на манипулирование политическими речами и действиями (если позволить себе воспользоваться знаменитой формулой Вебера по поводу Церкви). Я имею в виду такие изобретения как «научный социализм», «демократический централизм», «диктатура пролетариата» или, *last but not least*[i], «органичный интеллектуал», — это высшее проявление лицемерия священнического звания. Все эти концепты и та программа действия, которую они определяют, направлены на обеспечение доверенному лицу, монополизующему власть, двойную легитимность — научную и демократическую.

Популистский сциентизм, каким он себя представляет, обеспечивает Партии две конвергентных формы легитимности: марксистская доктрина как абсолютная наука о социальном мире дает тем, кто являются ее хранителями и официальными поручителями, возможность занять такую абсолютную точку зрения, которая является одновременно точкой зрения науки и точкой зрения пролетариата. Скорее следовало бы говорить об абсолютизме, чем о тоталитаризме — слово, которое ничего особенного не означает. Действительно, с помощью понятий, которые я перечислил, Партия наделяет себя абсолютной символической властью, эпистемократической и демократической одновременно: требование научности и требование репрезентативности усиливают друг друга с тем, чтобы заложить основания власти, осуществляемой над реальным народом от имени «метафизического пролетариата» (как говорит Колаковский). Благодаря установлению полной равноценности между представителем и предполагаемыми представляемыми (что с такой наивной решительностью подтвердил Робеспьер своим «Я — народ»), Партия-монополист может просто-напросто заменить народ, который говорит и действует через нее. Делегирование в пользу Партии является, как у Фомы Аквинского, отчуждением: народ отчуждает свою полномочную верховную власть в пользу всемогущей Партии (т. е. наделенной *plena potentia agendi et loquendi*), которая лучше, чем сам народ, знает и делает то, что есть благо для народа. В результате советский режим путем социологической подделки смог «гражданское общество» поглотить Государством, доминируемых — доминирующими» осуществляя в форме реальной диктатуры, ряженной под диктатуру пролетариата, мечту буржуазии без пролетариата, которую Маркс приписывал буржуазии своего времени.

Специфика советского режима состоит в том, что ему удалось объединить два принципа легитимности, которые используются и демократическими режимами, но в раздельном виде —



научность и демократическую репрезентативность, опираясь, в частности, на другое метафизическое изобретение, каким является идея пролетариата как универсального класса. Он довел до крайности монополизм политики, т. е. изъятие прав представляемых в пользу представителей, и дал свободно развиваться тенденциям, вписанным в сам факт делегирования и в логику функционирования даже самых «демократических» партий, или бюрократий, претендующих на научность.

Этот анализ подводит нас к тому, что составляет специфику недавних выступлений в Восточной Европе, обнаруживших близость не столько с Французской революцией, с которой их часто сравнивали по причине некоторого совпадения в датах, сколько с Реформацией и с лютеровской критикой сакраментальной роли духовенства и его стремлением низвести Церковь до простого *congregatio fidelium*[ii]. В самом деле, эти нынешние революции руководствуются глубоким недоверием к таким организационным изобретениям, унаследованным от Французской революции и от социальной борьбы XIX века, какими являются партии и профсоюзы. В Восточной Европе, в силу исключительно долгого и болезненного опыта, перегибов в функционировании партий, «железного закона олигархий», как говорил Михельс, естественной склонности доверенных лиц выставлять интересы, связанные с собственным положением и его воспроизводством, впереди интересов их предполагаемых доверителей, практическое сопротивление безоговорочному делегированию, «*fides implicita*», которая составляет благополучие всех церковников и в особенности тех, кто претендует на выражение интересов наиболее обездоленных, стало социально возможным в результате всеобщего повышения образованности.

Тем не менее, движения, рожденные из бунта против монополии политиков, когда они не приводят к зачастую политически опасной форме аполитизма, всегда нестабильны и слабы, как это показывает недавний опыт Восточной Германии, где очень быстро уточненная интеллектуальная контестация скатилась к самым грубым формам партийной политики на американский манер. Отчасти это происходит оттого, что альтернативные движения, как на Западе, так и на Востоке, не располагают теорией, которая позволила бы им осознать самих себя и организовать себя в соответствии с их глубинным предназначением.

Мне остается только желать установления нового типа сотрудничества между интеллектуалами, имеющими критический взгляд не только на социальный порядок, но и на самих себя и всех тех, кто претендует изменить социальный порядок, и движениями, которые как на Западе, так и на Востоке предполагают изменение социального мира, а также методов его осмысления и изменения. (Можно, например, представить себе мощную европейскую конвенцию, объединяющую по модели «Солидарности» интеллектуалов с такими альтернативными движениями как «зеленые» и «экологисты», или феминисты, ассоциации или группировки, возникшие на почве борьбы против советизма, «Новый Форум», «Хартия-77» и т. д., и имеющие целью создание «европейской координации» этих движений, рабочих и аналитических групп, предназначенных для определения новых объектов политики, а также целей и методов новой формы политической борьбы.)

Во всяком случае, только если вновь поднять такие фундаментальные вопросы политической философии как вопрос о делегировании, если восстановить всю важность утопической функции, которую лучше или хуже выполняли все крупные политические философии прошлого, возможно избежать разочарованного смирения с установленным порядком, к чему склоняет крушение крупных политических утопий прошлого, и вновь не поддаться влиянию мистиков и политических мистификаций, к которым политические доверенные лица не преминут прибегнуть для оправдания своего существования.

Пришло время преодолеть старое противостояние утопизма и социологизма для того, чтобы предложить социологически фундированные утопии. Для этого было бы необходимо, чтобы специалисты по социальным наукам смогли сообща освободиться от пут цензуры, которые они сочли необходимым для себя наложить во имя какой-то изуродованной идеи научности. Здесь у меня нет времени останавливаться на причинах, по которым специалисты по социальным наукам отказались от функции, в течение веков выполняемой крупными политическими теоретиками, начиная с Брунетто Латини, Бюде, Бодена, Макиавелли до Руссо. Известно, однако, что развитие научной социологии связано как в Европе, так и в Соединенных Штатах, с возникновением в XIX веке т. н. «социальных» проблем и «социальной» или «социалистической» политики. Эта связь настолько очевидна, что долгое время — а в некоторых кругах и по сей день — социология ассоциировалась с социализмом. Естественно, что социальные науки должны были завоевать независимость от политики и политиков, а

для этого необходимо было доказать свое право- на собственные нормы валидации и — особенно — отстоять право самим определить круг проблем, которые должны ими решаться, т. е. проблем чисто социологических, отличных от «социальных» или «политических». Во Франции такой была работа Дюркгейма с его знаменитым «Методом социологии», а вернее — вся традиция мысли об отношении между социологией и социализмом. В ином контексте Макс Вебер разрабатывал концепцию «этической» или «аксиологической нейтральности», которая стала бесспорным ядром профессиональной идеологии социологов. Несколько упрощая, можно сказать, что социальные науки заплатили за доступ к статусу науки (впрочем, постоянно оспариваемый) огромным отречением: самоцензурой, которая является настоящим самоистязанием. Социологи (я первый часто отрицал всякую попытку пророчества или социального философствования) заставляют себя отказываться от любых поползновений предложить идеальное и глобальной представлении о социальном мире, видя в этом нарушение научной морали, способное дискредитировать автора. Все происходит так, как если бы все более и более неумолимая цензура научного мира, все более и более озабоченного своей автономией (реальной или видимой), все более и более жестко навязывала себя исследователям, которые для того, чтобы заслужить звание ученого должны были убивать в себе политика, уступая тем самым утопическую функцию менее щепетильным и менее компетентным из собратьев, либо же политическим деятелям или журналистам. Я считаю, что ничто не оправдывает это сциентистское отречение, которое разрушает политические убеждения, и что настал момент, когда ученые совершенно полноправно обязаны вмешаться в политику, чтобы предложить утопии с содержащимися в них истиной и рационализмом.

Поймите меня правильно, речь не идет о восстановлении эпистемократических амбиций, которые длительное время ассоциировались с марксизмом и которые вместе с понятием научного социализма послужили одним из оснований коммунистических режимов. Однако речь не идет и о том, чтобы оправдывать тех, кто, как на Востоке, так и на Западе, торопится вместе с марксизмом выплеснуть и его научность, и его рационализм. Речь идет об утверждении функции, которая всегда была функцией интеллектуала и которая состоит в том, чтобы вторгаться в политический универсум — наподобие Золя — со всем авторитетом и правом, которое дает принадлежность к автономному универсуму искусства, философии или науки. Не существует непримиримого противоречия, как полагают некоторые, между независимостью и ангажированностью, между позицией разрыва и сотрудничеством, могущим быть конфликтным и критическим. В противовес тому, что предлагают фантазмы «органического интеллектуала», этой профессиональной идеологии аппаратчиков, занимающихся культурным производством, подлинный интеллектуал — тот, кто может установить сотрудничество, сохраняя позицию разрыва. В отличие от тех, кто обязан аппарату всем, иногда даже пресловутой интеллектуальной властью (наподобие Сталина, вторгавшегося в сферу лингвистики), интеллектуал всей своей интеллектуальной властью и компетентностью обязан лишь себе и своим трудам (а не политическим выступлениям или журналистскому эксгибиционизму, как в случае некоторых эссеистов), что дает ему право за свой счет и на свой страх и риск вторгаться в политику (вспомним Хомского или Сахарова в недавний период и множество других — до них).

Чтобы рассеять последнее недоразумение, должен сказать то, что для знающих мои работы об интеллектуальном мире хорошо известно: само собой разумеется, интеллектуал, как и другие социальные агенты, имеет свои мотивации и интересы, и очень важно, чтобы по отношению к нему осуществлялась бдительная критика, если он сам не в состоянии ее обеспечить, которая гарантируется знанием специфических механизмов интеллектуального поля. Республика Слова так же, как и Республика вообще является универсумом борьбы, где сталкиваются различные интересы, где действуют эффекты доминирования и где самые «чистые» действия могут быть инспирированы менее чистыми мотивациями и побуждениями. Известно, например, что те, кого Вебер относил к «пролетаризованной интеллигенции», т. е. низшие интеллектуалы, полуученые, зачастую вторгаясь в политику, в ход истории обретали почву для того, чтобы взять реванш у тех, кто доминирует в интеллектуальном мире. Здесь я имею в виду работы Роберта Дарнтон о роли богемной интеллигенции во Французской революции и многочисленные работы, в которых анализировалась роль низших интеллектуалов, этого поистине «опасного класса», в таких различных движениях, как нацизм, сталинизм и, в частности, ждановизм, или китайская революция. Очевидно, что одним из определяющих условий установления настоящей Realpolitik Разума является социологическая критика интеллектуальной институции, скрытых интересов, которыми могут руководствоваться в своей деятельности политические агенты, будучи в качестве доверенных лиц отрезанными от своих доверителей. Не следует забывать также интересы другого типа, которыми бывают движимы так называемые свободные интеллектуалы — free lance — что мы можем наблюдать сегодня в России, где

идет критика аппаратчиков. Я хочу привести лишь один заимствованный из истории пример этих интересов, скрытых от их носителей, интересов, которые могут окрашивать любое политическое предприятие, внешне чрезвычайно благородное. Известно, что начиная с Возрождения многие писатели превозносили *vera nobilitas*<sup>[iii]</sup>, которое достигается добродетелями, а шире — мудростью и наукой. Но почти всегда это скрытое обличение наследственной знати обнаруживало свою ограниченность тем фактом, что, как замечали эти же самые авторы (я имею в виду, например, Лоуренса Хэмфри и его «*The Nobles or of Nobility*»), эти новые добродетели как бы случайно значительно ярче блистали в среде-знати, чем в среде простых людей. То же самое происходит и сегодня, когда обладатели культурного капитала избегают извлекать выводы из того факта, что прославляемые ими добродетели «интеллигентности» чаще всего встречаются у наследников потомственных, известных и образованных семей. Этот «интеллигентский расизм» может быть обнаружен в основе множества внешне благородных позиций, занятых в отношении культуры и политики. В частности, его можно увидеть в склонности требовать или восхвалять универсальные добродетели, когда при этом забываются усилия, необходимые для универсализации экономических и социальных условий доступа к универсальному. Одним словом, которое уже будет завершающим, ничто не должно оставаться вне социологической критики, даже — и в особенности — критикующие интеллектуалы.

[i] последнее, но оттого не менее важное (англ.).

[ii] сообщество верующих (лат.).

[iii] истинное благородство (лат.).

Пьер Бурдьё

#### ЗА ПОЛИТИКУ МОРАЛИ В ПОЛИТИКЕ

(Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Г.А. Чередниченко/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — С. 321-330.)

Возможная точка отправления в рассуждениях о морали такова: существуют универсально удостоверенные стратегии второго порядка, метадискурсивные или метапрактические, посредством которых агенты стремятся произвести видимость соответствия (в действиях или намерениях) универсальному правилу, даже если их практика противоречит правилу или не имеет в своей основе подлинного подчинения правилу. Эти стратегии, с помощью которых «помещают себя в рамки правил», в частности «принимая форму поведения», то есть демонстрируя, что признают правило вплоть до неповиновения ему, предполагают признание фундаментального закона группы, того закона, который хочет, чтобы соблюдали, если не правило (кабилы любят говорить: «В каждом правиле есть своя лазейка»; Марсель Мосс сказал: «Табу существуют для того, чтобы их преступать»), то хотя бы фундаментальный закон/который требует, чтобы демонстрировалось признание правила. В каком-то смысле — с точки зрения группы — нет более благочестивого акта, чем «праведная ложь», «праведное двуличие». Если этот обман, который никого не обманывает, столь просто допускается группами, так это потому, что он заключает в себе неоспоримое заверение в уважении правила группы, то есть формально универсального принципа (применимого к любому члену группы), который является составной частью существования группы. Стратегии официализации, посредством которых агенты демонстрируют свое почтение по отношению к официальному верованию группы (убежденность кабила-отца, который представляет женитьбу на параллельной двоюродной сестре как вызванную истым уважением матримониального порядка, тогда как к тому принуждала забота «покрыть грех» или с которой смирились как с наименьшим злом; убежденность судьи кассационного суда, который притворяется, что выводит решение из истинных основ права, тогда как оно было внушено или навязано совершенно побочными соображениями, и т. п.), являются стратегиями универсализации, которые предоставляют группе то, что она особенно требует, то есть публичное

заверение в почтении (obsequium, как говорил Спиноза) к тому представлению, которое группа стремится дать о себе и придать себе самой.

Представление (ментальное), которое группа вырабатывает о себе самой, может быть устойчивым только при условии и через непрерывную работу по представлению (театральному), посредством которой агенты производят и воспроизводят, пусть даже через вымысел и в вымысле, по крайней мере видимость соответствия идеальной истине группы, ее идеалу истины. Эта работа с особой неотложностью предстает перед теми, кто, рассматривая себя как выразителей группы, официальных лиц, имеют менее, чем кто-либо другой, право пренебрегать в своей публичной деятельности и даже в своей частной жизни официальным почтением по отношению к коллективному идеалу. Группы полностью признают только тех, кто публично демонстрирует, что сам их признает. И санкции политического скандала неотвратимо настигают официального выразителя, который выдает, что он в действительности не оказывает группе того, что ему принесло признание группы.

Таким образом группы всесторонне вознаграждают поведение, которое они считают универсальным в действительности или, хотя бы, в намерениях, то есть соответствующим добродетели; и они оказывают особую благожелательность истинному и даже показному уважению в отношении идеала бескорыстия, подчинения «я» «нам», жертвованию частным интересом в пользу общего интереса, которое очень точно определяет переход от is к ought[i]. Следовательно, можно считать универсальным антропологическим законом, что существует выгода (символическая и иногда материальная) подчиняться универсальному, проявлять (по крайней мере) видимость добродетели, внешне подчиняться официальному правилу поведения. Иначе говоря, признание, универсально придаваемое официальному правилу, действует таким образом, что уважение правила, даже формальное или фиктивное, обеспечивает выгоду от систематичности (всегда проще и удобнее соответствовать правилу) или от «узаконения» (как иногда выражается бюрократическая реальность, когда говорит, например, «узаконить фактический брак»).

Из этого следует, что универсализация (как утверждение признания *κοινων* и *κοινωνειν*[ii], дорогих Платону) является универсальной стратегией легитимации. Тот, кто подчиняется правилу, привлекает группу на свою сторону, открыто ставя себя на сторону группы во время и посредством публичного акта признания общепринятой, универсально одобренной нормы поведения. Он заявляет, что согласен соизмерять свое поведение с точкой зрения группы, действительной для любого возможного агента, для универсального X. В противопоставлении с форменным утверждением произвола (потому, что я этого хочу; потому, что так мне приятно) соотнесение с универсальностью правила представляет собой возвышение до символического могущества, связанного с принятием универсальной формы, официальной формулы, общего правила.

Но общеизвестно существование интереса к добродетели и выгоды от соответствия социальному идеалу добродетели, и нет таких традиций, которые не преминули бы предостеречь от фарисейства, демонстративно защитить (и более или менее лицемерно) «правое дело», выставить напоказ добродетель во всех ее формах. Поскольку универсализация является по преимуществу стратегией легитимации, всегда есть право подозревать формально универсальное поведение в том, что оно является продуктом усилий обеспечить себе поддержку и одобрение группы в стремлении присвоить себе символическую силу, которую представляет собой *κοινων*, здравый смысл, — основание всякого выбора, который предстает как универсальный (*κοινων*, здравый смысл довлеет как то, что справедливо как в смысле этическом, практическом — через противопоставление с тем, что является эгоистичным, — так и в смысле теоретическом, когнитивном — через противопоставление с тем, что является субъективным и частичным). И это нигде так не справедливо, как в чисто политической борьбе за монополию легитимного символического насилия, за право диктовать право, истину, благо и все так называемые универсальные ценности, где ссылка на универсальное, на праведное, является оружием *par excellence*.

Но разочарование, которое может произвести социологический анализ интереса в бескорыстии, не ведет неизбежно к морализму благих намерений, который, будучи сосредоточенным только на узурпации универсальности, упускает, что интерес к универсальному и выгода от универсального являются бесспорно самым надежным двигателем прогресса по направлению к универсальному. Когда говорят пословицей, что «лицемерие — это почтение, которое порок воздает добродетели», обращают внимание скорее на лицемерие, отрицательное и универсально стигматизированное, или, более реалистически, — на почтение к добродетели, положительное и универсально признанное. И как не

принять во внимание, что критика подозрения сама по себе является способом участия в выгодах от универсального? Как, во всяком случае, не видеть, что при своем явном нигилизме она содержит в действительности признание универсальных логических или этических принципов, которые она вынуждена призывать на помощь, по крайней мере безмолвно, для того, чтобы выразить или разоблачить эгоистическую, корыстную или частичную, субъективную логику стратегий универсализации? Таким образом, также, как можно противопоставлять аристотелевскому определению человека тот факт, что люди иррациональны, лишь в той степени, в которой считается здоровым и разумным применять к ним рациональные нормы, подобным же образом возможно, например, предъявлять упрек гегелевской модели государственной бюрократии в незнании того, что служащие государства служат своим частным интересам под покровом службы универсальному, лишь потому, что молчаливо принимается, что бюрократия может, как она на то претендует, служить универсальному и что критерии и критика разума и морали, следовательно, могут быть к ней легитимно применимы.

Тест на «универсализабельность», столь дорогой Канту, является универсальной стратегией логической критики этических притязаний (у того, кто заявляет, что с другими можно грубо обходиться только потому, что у них какое-то особое свойство, например черная кожа, можно спросить, расположен ли он принимать подобное обхождение, если бы сам был черным). Ставить в социологически реалистических терминах вопрос о морали в политике или о морализации политики — это спрашивать себя, совершенно практически, об условиях, которые должны соблюдаться для того, чтобы политическая практика подвергалась постоянно тесту на универсализабельность; чтобы само функционирование политического поля предписывало агентам, которые в нем задействованы полный рабочий день, такие ограничения и контроль, что они были бы принуждены к реальным стратегиям универсализации. Очевидно; что речь бы шла об установлении социальных универсумов, где, как в идеальной республике Макиавелли, агенты были бы заинтересованы в добродетели, в бескорыстии, в преданности публичной службе и в общественном благе. Политическая мораль не может упасть с небес, она не вписана в природу человека. Единственно Realpolitik Разума и Морали — содействовать созданию благоприятных условий для установления универсума, где все агенты и их действия подвергались бы — а именно посредством критики — своего рода постоянному тесту на универсализабельность, практически введенного в саму логику поля: нет более реалистического политического действия (хотя бы для интеллектуалов) чем то, которое, предоставляя политическую силу этической критике, могло бы способствовать воцарению политических полей, способных поощрять самим своим функционированием агентов, обладающих наиболее универсальными логическими и этическими диспозициями.

Короче, у морали есть какие-то шансы приобщиться к политике только в том случае, если будут работать над созданием институциональных средств для политики морали. Официальная: правда официального лица, культ публичной службы и преданности общественному благу не устоят перед критикой подозрения, которая повсюду обнаруживает коррупцию, карьеризм, клиентелизм или, в лучшем случае, частный интерес в служении общему благу. Обреченные на то, что Остин обозначает, мимоходом, как «легитимное самозванство», общественные деятели являются людьми частными, социально легитимированными к восприятию себя как общественных деятелей, и социально поощряемыми в том, чтобы думать о себе и представлять себя как преданных служителей общества и общественного блага. Политика морали может лишь принять к сведению этот факт: с одной стороны она старается поймать официальных лиц в их собственной игре, то есть в ловушку официального определения их официальных функций. А также, и главным образом, она непрестанно работает над повышением цены усилий по утаиванию, необходимому для маскировки различия между официальным и официозным, авансценой и кулисами политической жизни. Эта работа по разоблачению, по разочарованию, по демистификации не имеет ничего от разрушения иллюзий: она в действительности может совершаться только во имя самих ценностей, которые стоят в основе критической эффективности разоблачения реальности, находящейся в противоречии с официально исповедуемыми нормами — равенством, братством и главное, в частном случае, искренностью, бескорыстием, короче всем, что определяет гражданскую добродетель. Нет ничего безнадежного, по крайней мере для «прекрасных душ», в том факте, что те, на долю кого выпадает эта работа — журналисты, оказывающиеся на гребне скандалов, интеллектуалы, быстро схватывающие универсальные причины, юристы, приставленные защищать и распространять уважение к праву, исследователи, упорно разоблачающие сокрытое (как социологи), — сами могут способствовать созданию условий установления царства гражданской добродетели только в той степени, в какой логика их соответствующих полей обеспечивает им выгоды от универсального, которые лежат в

основе их libido virtutis<sup>[iii]</sup>.

[i] is— является, ought — должен бы (англ.).

[ii] Koinon — общедоступный; koinonein — общий для кого-либо.

[iii] нравственная порядочность (лат.).